Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://tolstoyleo.ru/ Приятного чтения!

Вечные истины. Лев Николаевич Толстой

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти
(IПосл. Иоан. III, 14).

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия?
(III, 17).

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной
(III, 18).

Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога
(IV, 7).

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь
(IV, 8).

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает
(IV, 12).

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем
(IV, 16).

Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?
(IV, 20).

I

Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «Получу пять рублей с мужиков, приложу своих три, — куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику, — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, — забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины, — в долг не поверил овчинник.

— Денежки, — говорит, — принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я, — говорит, — и без шубы тепел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей Богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на

двугривенный сделаешь? Выпить – одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном, – откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой – а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит – за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, – думает, – здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе – совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню – не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит – человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти – как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только Бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

– Ты что же это, – говорит на себя, – Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? Боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сёма, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

II

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно – измерз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

– Будет, – говорит, – толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен – тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи, – не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «У меня лысина во всю голову, у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему. Одел его сапожник и говорит:

– Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

– Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстает.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

– Чей, значит, будешь?

– Я не здешний.

– Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

– Нельзя мне сказать.

– Должно, люди обидели?

– Никто меня не обидел. Меня Бог наказал.

– Известно, все Бог, да все же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?

– Мне все одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «Мало ли какие дела бывают», и говорит человеку:

– Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «Вот те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.

III

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, – думает, – Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманывает, а его малое дитя проведет. Восемь рублей – деньги немалые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит – вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках. Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, – думает, – так и есть, загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, – думает, – деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама пошла, видит – человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек – боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

– Что ж, – говорит, – Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.

– Садись, – говорит, – брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

– Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

– Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

– Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек…

– Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

– Деньги – вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

– Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

– Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят…

– Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала – ты пропил; пошел шубу купить – пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек; хочет сказать, где он человека нашел, – не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

– Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба – затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула, и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось – хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.

IV

Остановилась Матрена и говорит:

– Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

– Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него Бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник – не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

– Матрена, али в тебе Бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

– Хлебайте, что ль, – говорит.

Подвинул Семен странника.

– Пролезай, – говорит, – молодец.

Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

– Да ты чей будешь?

– Не здешний я.

– Да как же ты на дорогу-то попал?

– Нельзя мне сказать.

– Кто ж тебя обобрал?

– Меня Бог наказал.

– Так голый и лежал?

– Так и лежал нагой, замерзал. Увидел меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас Господь!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.

– На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись, где полюбится – на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел, и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит – Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

– Семен!

– А!

– Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

– Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

– А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.

– Должно, нельзя.

– Сём!

– А!

– Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «Будет толковать-то». Повернулся и заснул.

V

Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

– Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело – одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?

– Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

– Была бы охота. Всему люди учатся.

– Люди работают, и я работать буду.

– Тебя как звать?

– Михаил.

– Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь – твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, – кормить буду.

– Спаси тебя Господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

– Дело нехитрое, гляди…

Посмотрел Михайла, надел так же на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа – молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

VI

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил. Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и

вовсе, как щепка, сухая, а этот – как с другого света человек: морда красная, налитая, шея, как у быка, весь как из чугуна вылит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

– Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

– Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

– Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

– Развяжи, – говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

– Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

– Вижу, – говорит, – ваше благородие.

– Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Пощупал Семен товар, говорит:

– Товар хороший.

– То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

– Где же нам видать.

– Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

– Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

– То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь – берись, режь товар, а не можешь – и не берись, и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толкнул его локтем и шепчет:

– Брать, что ли?

Кивнул головой Михайла: «Бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

– Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

– Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать.

Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.

– Это кто ж, – говорит, – у тебя?

– А это самый мой мастер, он и шить будет.

– Смотри же, – говорит барин на Михайлу, – помни, так сшей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит – Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

– Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

– Как раз поспеют, когда надо.

– То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

– Ну уж кремнист. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

– С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

VII
И говорит Семен Михайле:

– Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.

Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит – у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, – думает, – Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он

босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

– Ты что же это, – говорит, – милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле – грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

– Здорово!

– Здорово. Чего надо?

– Да вот барыня прислала об сапогах.

– Что об сапогах?

– Да что об сапогах! Сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

– Что ты!

– От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

– Прощайте, хозяева! Час добрый!

VIII

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз – на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно:

– Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками никак к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит – вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена, – идет, припадает.

Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу – отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

– Здорово, хозяева!

– Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. С роду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе — приемыши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да Бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.

— Да чьи же они?

IX

Разговорилась женщина и стала рассказывать.

— Годов шесть, — говорит, — тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обморушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал Богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек.

Бедность, одиночество, одна баба была, — ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем»… А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух, — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не

любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

– Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без Бога не проживут.

Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

X

Подошел к нему Семен:

– Что, – говорит, – ты, Михайла!

Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

– Простите, хозяева. Меня Бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

– Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и от чего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

– Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь Бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова Божии. И я узнал слова Божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

– Скажи мне, Михайла, за что Бог наказал тебя и какие те слова Бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

– Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Я был ангел на небе и ослушался Бога.

Был я ангел на небе, и послал меня Господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена – больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что Бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел Божий! Мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к Господу на небо. Прилетел к Господу и говорю:

«Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: „Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить“. Не вынул я из родильницы душу». И сказал Господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова:

узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.

Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю.

XI

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

– Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Увидал я – в поле часовня для Бога сделана, подошел к Божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл, и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека – мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о Боге, женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее – в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал Бога.

И вспомнил я первое слово Бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что Бог начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово Бога: «Узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что Бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «Просила мать за детей, и поверил я матери, – думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы. И узнал, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

XII

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

– Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку – сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его, и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины, и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что Бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге, и Бог в нем, потому что Бог есть любовь.

И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

Где любовь, там и Бог
Жил в городе сапожник Мартын Авдеич. Жил он в подвале, в горенке об одном окне. Окно было на улицу. В окно видно было, как проходили люди; хоть видны были только ноги, но Мартын Авдеич по сапогам узнавал людей. Мартын Авдеич жил давно на одном месте, и знакомства много было. Редкая пара сапог в околодке не побывала и раз и два у него в руках. На какие подметки подкинет, на какие латки положит, какие обошьет, а другой раз и новые головки сделает. И часто в окно он видал свою работу. Работы было много, потому что работал Авдеич прочно, товар ставил хороший, лишнего не брал и слово держал. Если может к сроку сделать – возьмется, а нет, так и обманывать не станет, вперед говорит. И знали все Авдеича, и у него не переводилась работа, Авдеич и всегда был человек хороший, но под старость стал он больше о душе своей думать и больше к Богу приближаться. Еще когда Мартын у хозяина жил, померла у него жена. И остался после жены один мальчик – трех годов. Дети у них не жили. Старшие все прежде померли. Хотел сначала Мартын сынишку сестре в деревню отдать, потом пожалел – подумал: «Тяжело будет Капитошке моему в чужой семье расти, оставлю его при себе». И отошел Авдеич от хозяина и стал с сынишкой на квартире жить. Да не дал Бог Авдеичу в детях счастья. Только подрос мальчик, стал отцу помогать, только бы на него радоваться, напала на Капитошку болезнь, слег мальчик, погорел недельку и помер,

Схоронил Мартын сына и отчаялся. Так отчаялся, что стал на Бога роптать. Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил у Бога смерти и укорял Бога за то, что Он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына. Перестал Авдеич и в церковь ходить. И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок – уж восьмой год странствовал. Разговорился с ним Авдеич и стал ему на свое горе жаловаться.

– И жить, – говорит, – божий человек, больше неохота. Только бы помереть. Об одном Бога прошу. Безнадежный я остался теперь человек.

И сказал ему старичок:

– Не хорошо ты говоришь, Мартын, нам нельзя Божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом. Твоему сыну судил Бог помереть, а тебе – жить. Значит, так лучше. А что отчаиваешься, так это оттого, что ты для своей радости жить хочешь.

– А для чего же жить-то? – спросил Мартын.

И старичок сказал:

– Для Бога, Мартын, жить надо. Он тебе жизнь дает, для Него и жить надо. Когда для Него жить станешь, ни о чем тужить не станешь, и все тебе легко покажется.

Помолчал Мартын и говорит:

– А как же для Бога жить-то?

И сказал старичок:

– А жить как для Бога, то нам Христос показал. Ты грамоте знаешь? Купи Евангелие и читай, там узнаешь, как для Бога жить. Там все показано.

И запали эти слова в сердце Авдеичу. И пошел он в тот же день, купил себе Новый Завет крупной печати и стал читать.

Хотел Авдеич читать только по праздникам, да как начал читать, так ему на душе хорошо стало, что стал каждый день читать. Другой раз так зачитается, что в лампе весь керосин выгорит, и все от книги оторваться не может. И стал так читать Авдеич каждый вечер. И что больше читал, то яснее понимал, чего от него Бог хочет и как надо для Бога жить, и все легче и легче ему становилось на сердце. Бывало, прежде, спать ложится, охает он и крехчет и все про Капитошку вспоминает, а теперь только приговаривает: «Слава Тебе, слава Тебе, Господи! Твоя воля». И с той поры переменилась вся жизнь Авдеича. Бывало прежде, праздничным делом захаживал и он в трактир чайку попить, да и от водочки не отказывался. Выпьет, бывало, с знакомым человеком и хоть не пьян, а все-таки выходил из трактира навеселе и говаривал пустое: и окрикнет и оговорит человека. Теперь все это само отошло от него. Жизнь стала его тихая и радостная. С утра садится за работу, отработает свое время, снимет лампочку с крючка, поставит на стол, достанет с полки книгу, разложит и сядет читать. И что больше читает, то больше понимает и то яснее и веселее на сердце.

Случилось раз, поздно зачитался Мартын. Читал он Евангелие от Луки. Прочел он главу шестую, прочел он стихи: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».

Прочел и дальше те стихи, где Господь говорит:

«Что вы зовете Меня: Господи, Господи! и не делаете того, что Я говорю? Всякий приходящий ко Мне, слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне, почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».

Прочел эти слова Авдеич, и радостно ему стало на душе. Снял он очки, положил на книгу, облокотился на стол и задумался. И стал он примерять свою жизнь к словам этим. И думает сам с собой:

– Что, мой дом на камне или на песке? Хорошо, как на камне. И легко так-то, один сидишь, кажется, все и сделал, как Бог велит, а рассеешься – и опять согрешишь. Все ж буду тянуться. Уж хорошо очень. Помоги мне Господи!

Подумал он так, хотел ложиться, да жаль было оторваться от книги. И стал читать еще 7-ю главу. Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ ученикам Иоанновым и дошел до того места, где богатый фарисей позвал Господа к себе в гости, и прочел о том, как женщина-грешница помазала Ему ноги и омывала их слезами, и как Он оправдал ее. И дошел он до 44-го стиха и стал читать:

«И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования Мне не дал, а она с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги». Прочел он эти стихи и думает: «Воды на ноги не дал,

целования не дал, головы маслом не помазал…»

И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался.

«Такой же, видно, как я, фарисей-то был. Тоже, я чай, только об себе помнил. Как бы чайку напиться, да в тепле, да в холе, а нет того, чтобы об госте подумать. Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. А гость-то кто? Сам Господь. Кабы ко мне пришел, разве я так бы сделал?»

И облокотился на обе руки Авдеич и не видал, как задремал.

– Мартын! – вдруг как задышало что-то у него над ухом.

Встрепенулся Мартын спросонок:

– Кто тут?

Повернулся он, взглянул на дверь – никого. Прикурнул он опять. Вдруг явственно слышит:

– Мартын, а Мартын! смотри завтра на улицу, приду.

Очнулся Мартын, поднялся со стула, стал протирать глаза. И не знает сам, – во сне или наяву слышал он слова эти. Завернул он лампу и лег спать.

Наутро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, истопил печку, поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать. Сидит Авдеич, работает, а сам все про вчерашнее думает. И думает надвое: то думает – померещилось, а то думает, что и вправду слышал он голос. «Что ж, думает, бывало и это».

Сидит Мартын у окна, и столько не работает, сколько в окно смотрит, и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже, выглядывает из окна, чтобы не одни ноги, а и лицо увидать. Прошел дворник в новых валенках, прошел водовоз, потом поравнялся с окном старый солдат николаевский в обшитых старых валенках с лопатой в руках. По валенкам узнал его Авдеич. Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из милости. Положена ему была должность дворнику помогать. Стал против Авдеичева окна Степаныч счищать снег. Посмотрел на него Авдеич и опять взялся за работу.

– Вишь, одурел, видно, я со старости, – сам на себя посмеялся Авдеич. – Степаныч снег чистит, а я думаю, Христос ко мне идет. Совсем одурел, старый хрыч.

Однако стежков десяток сделал Авдеич, и опять тянет его в окно посмотреть. Посмотрел опять в окно, видит, Степаныч прислонил лопату к стене, и сам не то греется, не то отдыхает.

Человек старый, ломаный, видно, и снег-то сгребать силы нет. Подумал Авдеич: напоить его разве чайком, кстати и самовар уходить хочет. Воткнул Авдеич шило, встал, поставил на стол самовар, залил чай и постучал пальцем в стекло. Степаныч обернулся и подошел к окну. Авдеич поманил его и пошел отворить дверь.

– Войди, погрейся, что ль, – сказал он. – Озяб, чай.

– Спаси Христос, и то – кости ломят, – сказал Степаныч.

Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить на полу, а сам шатается.

– Не трудись вытирать. Я подотру, наше дело такое, проходи, садись, – сказал Авдеич. – Вот чайку выпей.

И Авдеич налил два стакана и подвинул один гостю, а сам вылил свой на блюдечко и стал дуть.

Выпил Степаныч свой стакан, перевернул дном кверху, и на него положил огрызок, и стал благодарить. А самому, видно, еще хочется.

– Кушай еще, – сказал Авдеич и налил еще стакан и себе и гостю.

Пьет Авдеич свой чай, а сам нет-нет на улицу поглядывает.

– Али ждешь кого? – спросил гость.

– Жду кого? И сказать совестно, кого жду: жду не жду, а запало мне в сердце слово одно. Виденье или так, сам не знаю. Видишь ли, братец ты мой; читал я вчера Евангелие про Христа-батюшку, как Он страдал, как по земле ходил. Слыхал ты, я чай?

– Слыхать слыхал, – отвечал Степаныч, – да мы люди темные, грамоте не знаем.

– Ну вот, читал я про самое то, как Он по земле ходил, читаю я, знаешь, как Он к фарисею пришел, а тот Ему встречи не сделал. Ну так вот, читал, братец ты мой, я вчера про это самое и подумал: как Христа-батюшку честь честью не принял. Доведись, к примеру, мне или кому, думаю, и не знал бы, как принял. А он и приему не сделал. Вот подумал я так-то и задремал. Задремал я, братец ты мой, и слышу, по имени кличет; поднялся я, голос, ровно шепчет кто-то, жди, говорит, завтра приду. Да до двух раз. Ну вот, веришь ли, запало мне это в голову – сам себя браню, и все жду Его, Батюшку.

Степаныч покачал головой и ничего не сказал, а допил свой стакан и положил его боком, но Авдеич опять поднял стакан и налил еще.

– Кушай на здоровье. Ведь тоже думаю, когда Он, Батюшка, по земле ходил, не брезговал никем, а с простым народом больше водился. Все по простым ходил, учеников-то набирал все больше из нашего брата, таких же, как мы, грешные, из рабочих. Кто, говорит, возвышается, тот унизится, а кто унижается, тот возвысится. Вы Меня, говорит, Господом называете, а Я, говорит, вам ноги умою. Кто хочет, говорит, быть первым, тот будь всем слуга. Потому что, говорит, блаженны нищие, смиренные, кроткие, милостивые.

Забыл свой чай Степаныч, человек он был старый и мягкослезный. Сидит, слушает, а по лицу слезы катятся.

– Ну, кушай еще, – сказал Авдеич. Но Степаныч перекрестился, поблагодарил, отодвинул стакан и встал.

– Спасибо тебе, – говорит, – Мартын Авдеич, угостил ты меня, и душу, и тело насытил.

– Милости просим, заходи другой раз, рад гостю, – сказал Авдеич.

Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду и опять сел к окну за работу – строчить задник. Строчит, а сам все поглядывает в окно – Христа ждет, все о Нем и об Его делах думает. И в голове у него все Христовы речи разные.

Прошли мимо два солдата, один в казенных, другой в своих сапогах, прошел потом в чищеных калошах хозяин из соседнего дома, прошел булочник с корзиной. Все мимо прошли, и вот поравнялась еще с окном женщина в шерстяных чулках и в деревенских башмаках. Прошла она мимо окна и остановилась у простенка. Заглянул на нее из-под окна Авдеич, видит: женщина чужая, одета плохо и с ребенком, стала у стены к ветру спиной и укутывает ребенка, а укутывать не во что. Одежа на женщине летняя, да и плохая. И из-за рамы слышит Авдеич, ребенок кричит, и она его уговаривает, никак уговорить не может. Встал Авдеич, вышел в дверь и на лестницу и кликнул:

– Умница! а умница! – Женщина услыхала и обернулась. – Что же так на холоду с ребеночком стоишь? Заходи в горницу, в тепле-то лучше уберешь его. Сюда вот.

Удивилась женщина. Видит, старик старый в фартуке, очки на носу, зовет к себе. Пошла за ним.

Спустились под лестницу, вошли в горницу, провел старик женщину к кровати.

– Сюда, – говорит, – садись, умница, к печке ближе – погреешься и покормишь

младенца-то.

– Молока-то в грудях нет, сама с утра не ела, – сказала женщина, а все-таки взяла к груди ребенка.

Покачал головой Авдеич, пошел к столу, достал хлеб, чашку, открыл в печи заслонку, налил в чашку щей, вынул горшок с кашей, да не упрела еще, налил одних щей и поставил на стол. Достал хлеба, снял с крючка утирку и на стол положил.

– Садись, – говорит, – покушай, умница, а с младенцем я посижу, ведь у меня свои дети были – умею с ними нянчиться.

Перекрестилась женщина, села к столу и стала есть, а Авдеич присел на кровать к ребенку. Чмокал, чмокал ему Авдеич губами, да плохо чмокается, зубов нету. Все кричит ребеночек. И придумал Авдеич его пальцем пугать, замахнется-замахнется на него пальцем прямо ко рту и прочь отнимет. В рот не дает, потому палец черный, в вару запачкан. И засмотрелся ребеночек на палец и затих, а потом и смеяться стал. И обрадовался и Авдеич. А женщина ест, а сама рассказывает, кто она и куда ходила.

– Я, – говорит, – солдатка, мужа восьмой месяц угнали далеко, и слуха нет. Жила в кухарках, родила. С ребенком не стали держать. Вот третий месяц бьюсь без места. Проела все с себя. Хотела в кормилицы – не берут: худа, говорят. Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять. Я думала совсем. А она велела на той неделе приходить. А живет далеко. Изморилась и его, сердечного, замучила. Спасибо, хозяйка жалеет нас за-ради Христа на квартире. А то бы и не знала, как прожить.

Воздохнул Авдеич и говорит:

– А одежи-то теплой али нет?

– Пора тут, родной, теплой одеже быть. Вчера платок последний за двугривенный заложила.

Подошла женщина к кровати и взяла ребенка, а Авдеич встал, пошел к стенке, порылся, принес старую поддевку.

– На, – говорит, – хоть и плохая штука, а все пригодится завернуть.

Посмотрела женщина на поддевку, посмотрела на старика, взяла поддевку и заплакала. Отвернулся и Авдеич; полез под кровать, выдвинул сундучок, покопался в нем и сел опять против женщины.

И сказала женщина:

– Спаси тебя Христос, дедушка, наслал, видно, Он меня под твое окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же Он, Батюшка, тебя в окно поглядеть и меня, горькую, пожалеть.

Усмехнулся Авдеич и говорит:

– И то Он наставил. В окно-то я, умница, неспроста гляжу.

И рассказал Мартын и солдатке свой сон, и как он голос слышал, что обещался нынешний день Господь прийти к нему.

– Все может быть, – сказала женщина, встала, накинула поддевку, завернула в нее детище и стала кланяться и опять благодарить Авдеича.

– Прими, ради Христа, – сказал Авдеич и подал ей двугривенный – платок выкупить. Перекрестилась женщина, перекрестился Авдеич и проводил женщину.

Ушла женщина; поел Авдеич щей, убрался и сел опять работать. Сам работает, а окно помнит, как потемнеет в окне, сейчас и взглядывает, кто прошел. Проходили и знакомые, проходили и чужие, и не было никого особенного.

И вот, видит Авдеич: против самого его окна остановилась старуха, торговка.

Несет лукошко с яблоками. Немного уж осталось, видно, все распродала, а через плечо держит мешок щепок. Набрала, должно быть, где на постройке, к дому идет. Да, видно, оттянул ей плечо мешок; захотела на другое плечо переложить, спустила она мешок на панель, поставила лукошко с яблоками на столбике и стала щепки в мешке утрясать. И пока утрясала она мешок, откуда ни возьмись, вывернулся мальчишка в картузе рваном, схватил из лукошка яблоко и хотел проскользнуть, да сметила старуха, повернулась и сцапала малого за рукав. Забился мальчишка, хотел вырваться, да старуха ухватила его обеими руками, сбила с него картуз и поймала за волосы. Кричит мальчишка, ругается старуха. Не поспел Авдеич шила воткнуть, бросил на пол, выскочил в дверь, даже на лестницу спотыкнулся и очки уронил. Выбежал Авдеич на улицу: старуха малого треплет за вихры и ругает, к городовому вести хочет; малый отбивается и отпирается.

– Я, – говорит, – не брал, за что бьешь, пусти.

Стал их Авдеич разнимать, взял мальчика за руку и говорит:

– Пусти его, бабушка, прости его, ради Христа!

– Я его так прощу, что он до новых веников не забудет. В полицию шельмеца сведу.

Стал Авдеич упрашивать старуху:

– Пусти, – говорит, – бабушка, он вперед не будет. Пусти ради Христа!

Пустила его старуха, хотел мальчик бежать, но Авдеич придержал его.

– Проси, – говорит, – у бабушки прощенья. И вперед не делай, я видел, как ты взял.

Заплакал мальчик, стал просить прощенья.

– Ну, вот так. А теперь яблоко на, вот тебе.

И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику.

– Заплачу, бабушка, – сказал он старухе.

– Набалуешь так, мерзавцев, – сказала старуха. – Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился.

– Эх, бабушка, бабушка, – сказал Авдеич. – По-нашему-то так, а по-Божьему не так. Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо?

Замолчала старуха.

И рассказал Авдеич старухе притчу о том, как хозяин простил оброчнику весь большой долг его, а оброчник пошел и стал душить своего должника. Выслушала старуха, и мальчик стоял слушал.

– Бог велел прощать, – сказал Авдеич, – а то и нам не простится. Всем прощать, а несмысленому-то и поготово.

Покачала головой старуха и вздохнула.

– Так-то так, – сказала старуха, – да уж очень набаловались они.

– Так нам, старикам, и учить их, – сказал Авдеич.

– Так и я говорю, – сказала старуха. – У меня самой их семеро было, – одна дочь осталась.

И стала старуха рассказывать, где и как она живет у дочери и сколько у ней внучат.

– Вот, – говорит, – сила моя уж какая, а все тружусь. Ребят, внучат жалко, да и хороши внучата-то; никто меня не встретит, как они. Аксютка, так та ни к кому и

не пойдет от меня. Бабушка, милая бабушка, сердечная… – И совсем размякла старуха.

– Известно, дело ребячье. Бог с ним, – сказала старуха на мальчика.

Только хотела старуха поднимать мешок на плечи, подскочил мальчик и говорит:

– Дай я снесу, бабушка, мне по дороге. – Старуха покачала головой и взвалила мешок на мальчика.

И пошли они рядом по улице. И забыла старуха спросить у Авдеича деньги за яблоко. Авдеич стоял и все смотрел на них и слушал, как они шли и что-то все говорили.

Проводил их Авдеич и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, и не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Поработал немного, да уж стал щетинкой не попадать и видит: фонарщик прошел фонари зажигать. «Видно, надо огонь засвечать», – подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать. Докончил один сапог совсем; повертел, посмотрел: хорошо. Сложил струмент, смел обрезки, убрал щетинки, и концы, и шилья, снял лампу, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылась в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу – стоят люди, а не может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос:

– Мартын! А Мартын. Или ты не узнал Меня?

– Кого? – проговорил Авдеич.

– Меня, – сказал голос. – Ведь это Я.

И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его…

– И это Я, – сказал голос.

И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали.

– И это Я, – сказал голос.

И выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись, и тоже пропали.

И радостно стало на душе Авдеича, перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие, там, где открылось. И наверху страницы он прочел:

– И взалкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня…

И внизу страницы прочел еще:

– Так как вы сделали это одному из сих братии Моих, меньших, то сделали Мне (Матфея 25 глава).

И понял Авдеич, что не обманул его сон, что, точно, приходил к нему в этот день Спаситель его и что, точно, он принял Его.

Упустишь огонь – не потушишь
Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?

(Матф. XVIII, 21).
Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз

(22).
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами

своими

(23).
Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов

(24).
А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить

(25).
Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу

(26).
Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему

(27).
Раб же тот, вышедши, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен

(28).
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе

(29).
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга

(30).
Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, пришедши, рассказали государю своему все бывшее

(31).
Тогда государь призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня

(32).
Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?

(33).
И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга (34).

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его

(35).
Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо; сам был в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах: один женатый, другой жених, а третий, подросток, с лошадьми ездил и пахать зачинал. Старуха Иванова была баба умная и хозяйственная, и сноха попалась смирная и работящая. Жить бы да жить Ивану с семьей. Только нерабочих ртов во дворе и было, что один старик отец больной (от удушья седьмой год на печи лежал). Всего было вдоволь у Ивана – 3 лошади с жеребенком, корова с подтелком, 15 овец. Бабы обували, обшивали мужиков и в поле работали; мужики крестьянствовали. Хлеба своего за новину переходило. Овсом подати и нужду всю справляли. Жить бы да жить Ивану с детьми. Да двор об двор жил с ним сосед Гаврило Хромой – Гордея Иванова сын. И завелась с ним у Ивана вражда.

Пока старик Гордей жив был и Ивана отец хозяйствовал, жили мужики по-соседски. Понадобится сито бабам или ушат, понадобится мужикам веретье или колесо сменить до времени, посылают из одного двора в другой и по-соседски помогают друг дружке. Забежит теленок на гумно – сгонят и только скажут: не пускай, мол, у нас ворох не убран. А того, чтобы прятать да запирать на гумне или в сарае или клепать друг на дружку, того и в заводе не было.

Так жили при стариках. А стали хозяйствовать молодые – пошло другое.

Затеялось все из пустого.

Занеслась у Ивановой снохи рано курочка. Стала молодайка собирать к Святой яйца. Что ни день, то идет за яичком под сарай в тележный ящик. Только спугнули, видно, ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу и там снесла. Слышит молодайка, кудахтает курочка, думает: теперь недосуг, убраться надо в избе под праздник; ужотко зайду возьму. Пошла вечером под сарай к тележному ящику – нет яичка. Стала молодайка спрашивать свекровь, деверя, – не брали ли. Нет, говорят, не брали; а Тараска, деверь меньшой, говорит: твоя хохлатка на дворе у соседа снесла, там кудахтала и оттуда прилетела. Посмотрела молодайка на свою хохлатку, сидит рядом с петухом на перемете, уж глаза завела, спать собралась. И спросила бы у ней, где снесла, да не ответит, и пошла молодайка к соседям. Встречает ее старуха.

– Чего тебе, молодка, надо?

– Да что, – говорит, – баушка, моя курочка к вам нынче перелетала, не снесла ли она яичка где?

– И видом не видали. У нас свои, Бог дал, давно несутся. Мы своих собрали, а нам чужих не надо. Мы, деушка, по чужим дворам яйца собирать не ходим.

Обидно стало молодайке, сказала слово лишнее, соседка еще два; и стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять, помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова в раз выговорить. Да и слова-то все дурные. Ты такая, ты сякая, да ты воровка, шлюха, ты и старика свекра мором моришь, ты беспоставочная.

– А ты побирушка, сито мое продрала! Да и коромысло-то у тебя наше, – давай коромысло!

Ухватились за коромысло, воду пролили, платки сорвали, стали драться. Подъехал с поля Гаврило, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном, свалились в кучу. Иван мужик здоровый был, раскидал всех. Гавриле клок бороды выдрал. Сбежался народ, насилу розняли.

С того началось.

Завернул Гаврило свой клок бороды в грамотку и поехал в волостное судиться.

– Я, – говорит, – не затем ее растил, бороду-то, чтобы мне ее конопатый Ванька драл.

А жена его соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда.

Уговаривал их с печи старик еще с первого дня, да не послушали молодые. Говорил он им:

– Пустое вы, ребята, делаете и из пустого дело заводите. Ведь подумайте, все дело у вас из-за яйца завязалось. Подняли ребятишки яичко, ну и Бог с ним; в одном яйце корысти нисколько. У Бога про всех хватит. Ну, дурное слово сказала, а ты его поправь, научи, как лучше сказать. Ну, подрались – грешные люди. Бывает и это. Ну, подите попроститесь, да крышка всему. А на зло пойдете – вам хуже будет.

Не послушали молодые старика, думали, что все это старик не к делу говорит, а только по-стариковски брюзжит.

Не покорился Иван соседу.

– Я, – говорит, – ему бороды не рвал, он ее сам себе выщипал, а его сын мне пельки оборвал и всю рубаху на мне. Вот она.

И поехал Иван судиться. Судились они и у мирового и у волостного. Пока судились, пропал у Гаврилы из телеги шкворень. Поклепали Гавриловы бабы этим шкворнем Иванова сына:

– Мы, – говорят, – видели, как он ночью мимо окна к телеге подходил, а кума сказывала, он в кабак заезжал, там кабашнику шкворнем набивался.

Опять стали судиться. А дома что ни день, то брань, а то и драка. И ребята бранятся, у старших научаются, и бабы на речке сойдутся, не столько вальками бьют, сколько языками стрекочут, и все назло.

Сначала клепали мужики друг на дружку, а потом и вправду, чуть что плохо лежит, стали и таскать. И так и баб и ребят приучили. И стало житье их все хуже и хуже. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым и на сходках, и в волостном, и у мирового, так что и судьям всем надокучили; то Гаврило Ивана под штраф подведет или в холодную, то Иван Гаврилу. И что больше они друг дружке пакостили, то больше злились. Собаки схватятся: что больше дерутся, то больше остервеняются. Собаку сзади бьют, а она думает, что это ее та кусает, и еще пуще зарится. Так и эти мужики: поедут судиться, их накажут, того либо другого, штрафом или арестом, и за все это у них друг на дружку сердце разгорается. «Погоди ж, мол, я тебе все это выворочу». И шло так у них дело 6 годов. Только старик на печи все одно говорил. Начнет, бывало, усовещивать:

– Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все счеты, дело не упускайте, а на людей не злобьтесь, лучше будет. А что больше злобитесь, то хуже.

Не слушают старика.

Зашло дело на седьмом году о том, что на свадьбе стала сноха Иванова Гаврилу при народе срамить, стала его уличать, что он с лошадьми попался. Был Гаврило пьяный, не сдержал своего сердца, ударил бабу и зашиб так, что она неделю лежала, а баба тяжелая была. Обрадовался Иван, поехал с прошением к следователю. «Теперь, – думает, – развяжусь я с соседом, не миновать ему острога или Сибири». Да опять не вышло Иваново дело. Не принял следователь прошенья; освидетельствовали бабу; баба встала, и знаков нет. Поехал Иван к мировому, и тот переслал дело в волостное. Стал Иван хлопотать в волости, писарю со старшиной полведра сладкой пропоил и выхлопотал, что присудили высечь Гавриле спину. Прочли Гавриле на суде решенье.

Читает писарь: «Суд постановил: наказать крестьянина Гаврилу Гордеева 20-ю ударами розог при волостном правлении». Слушает и Иван решенье и глядит на Гаврилу: что от него теперь будет? Выслушал Гаврило, побелел, как полотенце, повернулся, вышел в сени. Вышел за ним Иван, хотел к лошади, да услыхал, – говорит Гаврило:

– Ладно, – говорит, – он мою спину высечет, загорится она у меня, да и у него как бы больнее чего не загорелось.

Услыхал эти слова Иван, тотчас вернулся к судьям,

– Судьи праведные! Он меня спалить грозит. Прислушайте, при свидетелях сказал.

Позвали Гаврилу.

– Правда, ты говорил?

– Я ничего не говорил. Секите, коли ваша власть есть. Видно, мне одному за мою правду страдать, а ему все можно.

Хотел еще что-то сказать Гаврило, да затряслись у него и губы и щеки. И отвернулся к стенке. Испугались даже судьи, глядя на Гаврилу. Как бы, думают, он и впрямь чего худого над соседом или над собой не сделал.

И стал старичок судья говорить:

– А вот что, братцы: сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврило, разве хорошо сделал – тяжелую бабу ударил? Ведь хорошо, Бог помиловал, а то какой бы грех сделал. Разве хорошо? Ты повинись да поклонись ему. А он простит. Мы это решение перепишем.

Услыхал это писарь и говорит:

– Это нельзя, потому что на основании сто семнадцатой статьи миролюбивое соглашение не состоялось, а состоялось решение суда, и решение должно войти в силу.

Но судья не послушал писаря.

– Будет, – говорит, – язык чесать-то. Первая статья, брат, одна: Бога помнить надо, а помириться Бог велел.

И стал судья опять уговаривать мужиков, да не уговорил. Не стал его Гаврило слушать.

– Мне, – говорит, – без году пятьдесят, у меня сын женатый, и бит я отродясь не был, а теперь меня конопатый Ванька под розги привел, да я же ему поклонись! Ну, да будет… Попомнит меня и Ванька!

Задрожал опять голос у Гаврилы. Не мог больше говорить. Повернулся и вышел.

От волости до двора 10 верст было, и вернулся Иван домой поздно. Уж бабы вышли скотину встречать. Отпряг он лошадь, убрался и вошел в избу. В избе никого не было. Ребята с поля не ворочались, а бабы скотину встречали. Вошел Иван, сел на лавку и задумался. Вспомнил он, как Гавриле решенье объявили и как он побелел и к стене повернулся. И защемило ему сердце. Примерил он к себе, кабы его высечь присудили. И жалко ему стало Гаврилы. И слышит он, закашлялся старик на печи, поворочался, спустил ноги и полез с печи. Сполз старик, протащился до лавки и сел. Уморился до лавки доползть, кашлял, кашлял старик, откашлялся, оперся на стол и говорит:

– Что ж? присудили?

Иван говорит:

– Двадцать розг присудили.

Помотал головой старик.

– Худо, – говорит, – Иван, ты делаешь. Ох, худо! Не ему, себе худо делаешь. Ну, выпорют ему спину, тебе-то полегчает, что ли?

– Вперед не будет, – сказал Иван.

– Чего не будет-то? Чем он хуже тебя делает?

– Как, чего он мне сделал? – заговорил Иван. – Он бабу бы до смерти убил, да он и теперь сжечь грозится. Что ж, ему кланяться за это?

Воздохнул старик и говорит:

– По всему ты, Иван, вольному свету ходишь и ездишь, а я на печи который год лежу, ты и думаешь, что ты все видишь, а я ничего не вижу. Нет, малый, тебе ничего не видно; тебе злоба глаза замстила. Чужие-то грехи перед собой, а свои за спиной. Что сказал: он худо делает! Кабы он один худо делал, зла бы не было. Разве зло промеж людьми от одного заводится? Зло промеж двоих. Его плохоту тебе видно, а свою не видать. Кабы он один был зол, а ты бы хорош, зла бы не было. Бороду-то ему кто выдрал? Копну-то испольную кто поднял? Посудам-то кто его волочил? А все на него воротишь. Сам плохо живешь, оттого и худо. Не так я, брат, жил и не тому вас учил. Мы с стариком, с отцом его, разве так жили? Мы жили как? – по-суседски. У него мука дошла, придет баба: дядя Фрол, муки надо! – Иди, мол, молодка в амбар, насыпай, сколько надо. – У него некого с лошадьми послать: ступай, Ванятка, сведи его лошадей. – А у меня чего нехватка, иду к нему. – Дядя Гордей, того-то, того-то надо. – Бери, дядя Фрол! – Так у нас шло. И вам житье легкое было. А теперь что? Вот намедни солдат про Плевну сказывал. Что ж, у вас теперь война хуже Плевны этой. Разве это житье? А грех-то! Ты мужик, ты хозяин в дому. С тебя спросится. Ты чему своих баб да ребят учишь? Собачиться. Намеднись Тараска – и тот, сопляк, тетку Арину костит по-матери, а мать на него смеется. Разве это добро? Ведь с тебя спросится! Ты об душе-то подумай. Разве так надо? Ты мне слово – я два, ты мне плюху – я тебе две. Нет,

малый, Христос по земле ходил, не тому нас, дураков, учил. Тебе слово, а ты смолчи, – его самого совесть обличит. Вот как Он нас, Батюшка, учил. Тебе плюху, а ты под другую подвернись: на, мол, бей, коли я того стою. А его совесть зазрит. Он и смирится, и тебя послухает. Так-то Он нам приказывал, а не гордыбачить. Что ж молчишь? Так ли я говорю?

Молчит Иван – слушает.

Закашлялся старик, насилу отплевался, опять стал говорить:

– Ты думаешь, Христос-то нас худому учил? Ведь все для нас же, для добра. Ты об земном житье-то своем подумай: что тебе лучше али хуже стало с тех пор, как эта Плевна у вас завелась? Ты посчитай-ка, что ты провел добра на суды, что ты проездил да прохарчил? У тебя сыновья-то какие орлы поднялись, тебе бы жить да жить, да в гору идти, а у тебя достаток убывать стал. А отчего? Все оттого. От гордости от твоей. Тебе надо с ребятам в поле ехать да самому рассеять, а тебя враг к судье али к стракулисту какому гонит. Не вовремя вспашешь, не вовремя посеешь, она, матушка, и не родит. Овес-то отчего ныне не родился? Ты когда сеял? Из города приехал. А что высудил? Себе на шею. Эй, малый, ты свое дело помни: ворочай с ребятами на пашне да в дому, а обидел тебя кто, так ты по-Божьи прости, и по делу-то вольготнее тебе будет, и на душе-то легость у тебя всегда будет.

Молчит Иван.

– Ты вот что, Ваня! Послушай ты меня, старика. Поди ты, запряги чалого, поезжай ты тем же следом в правление, прикрой ты там все дела и поди ты наутро к Гавриле, попростись ты с ним по-Божески, да к себе позови, завтра же праздник (дело было под Рождество Богородицы), поставь самоварчик, полштоф возьми и развяжи ты все грехи, чтоб и вперед их не было, и бабам и детям закажи.

Вздохнул и Иван, думает: «правду старик говорит», и отошло у него вовсе сердце. Только не знает, как дело это сделать, как помириться теперь.

И начал опять старик, точно угадал.

– Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь в начале, а разгорится – не захватишь.

Хотел еще что-то сказать старик, да не договорил: пришли бабы в избу, защекотали, как сороки. До них уж все вести дошли: и как Гаврилу присудили розгами высечь, и как он сжечь грозился. Все узнали и своего приплели, и уж с Гавриловыми бабами на выгоне опять побраниться успели. Стали рассказывать, как им Гаврилова споха грозилась производителем. Производитель, мол, Гаврилову руку тянет. Он теперь все дело перевернет, а учитель, мол, уж другое прошенье к самому царю на Ивана писал, и в прошении все дела прописаны: и об шкворне, и об огороде, и половина усадьбы теперь к ним перейдет. Послушал их речи Иван, и застыло у него опять сердце, и раздумал мириться с Гаврилой.

У хозяина во дворе всегда дела много. Не стал с бабами говорить Иван, а встал и пошел из избы, пошел на гумно и в сарай. Пока убрался там да вернулся во двор, уже и солнышко зашло; подъехали и ребята с поля: они яровое под зиму надвоем пахали. Встретил их Иван, порасспросил про работу, подсобил убраться, отложил хомут разорванный починить, хотел еще убрать жерди под сарай, да уж вовсе смерклось. Оставил Иван жерди до завтра, а подкинул скотине корму, отворил ворота, выпустил Тараску с лошадьми на улицу ехать в ночное и опять запер ворота, заложил подворотню. «Теперь поужинать да и спать», – подумал Иван, захватил хомут рваный и пошел в избу. И забыл он к тому времени и про Гаврилу, и про то, что отец говорил. Только взялся за кольцо, входит в сени, слышит – из-за плетня ругается на кого-то сосед хриплым голосом. «На кой его дьявола! – кричит на кого-то Гаврило. – Убить его стоит!» Так и всплыло у Ивана от этих слов все прежнее зло на соседа. Постоял он, послушал, покуда Гаврило ругался. Затих Гаврило, пошел и Иван в избу. Вошел он в избу, в избе засветили огонь; молодайка в углу сидит за пряхой, старуха ужинать собирает, старший сын оборки вьет на лапти, второй у стола сидит с книжкой, Тараска в ночное убирается.

В избе все хорошо, весело, кабы не зазноба эта – сосед лихой.

Вошел Иван сердитый, сбросил кошку с лавки и баб разбранил, что у них лохань не

на месте. И скучно стало Ивану; сел он, нахмурился и стал хомут чинить, и не идут у него из головы Гавриловы слова, как он на суде погрозился и как сейчас прокричал хриплым голосом про кого-то: «Убить его стоит!»

Собрала старуха Тараске ужинать; поел он, надел шубенку, кафтан, подпоясался, взял хлеба и пошел на улицу к лошадям. Хотел его старший брат проводить, да Иван сам встал и вышел на крыльцо. На дворе уж вовсе темно, черно стало, наволокло и поднялся ветер. Сошел Иван с крыльца, подсадил сынишку, пугнул за ним жеребенка и постоял, посмотрел, послушал, как поехал Тараска вниз по деревне, как съехался с другими ребятами и как все они выехали из слуха вон. Постоял, постоял Иван у ворот, и не выходят у него из головы Гавриловы слова: «Как бы у тебя больнее не загорелось».

«И себя, – думает Иван, – не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет где с задов, сунет огонь, да и был таков; сожжет, злодей, да и прав останется. Вот кабы накрыть его, уж не ушел бы!» И так запала эта Ивану думка в голову, что не пошел он назад на крыльцо, а прямо сошел на улицу и за ворота, за угол. «Дай обойду двор. Кто его знает». И пошел Иван тихой ступней вдоль ворот.

Только зашел он за угол, поглядел вдоль плетня, и покажись ему, что на том углу что-то мотнулось, как будто высунулось и опять спряталось за угол. Остановился Иван и притих, – слушает и смотрит: все тихо, только ветер листочки на лозине треплет и по соломе шуршит. То было темно, хоть глаз выткни, а то пригляделись глаза в темноте: и видит Иван весь угол, и соху, и застреху. Постоял он, посмотрел: «Нет никого».

«Видно, померещилось, – подумал Иван, – а все-таки обойду», – и пошел крадучись вдоль сарая. Ступает Иван тихо, в лаптях, так что и сам своих шагов не слышит. Дошел до угла – глядь, на том конце что-то блеснуло у сохи и опять скрылось. Так и ударило Ивана в сердце, и остановился он. Только остановился он, на том же месте вспыхнуло ярче, и явственно видно – сидит на корточках к нему спиной человек в шапке и соломы пучок в руках разжигает. Забилось у Ивана сердце в груди, как птица, и напружился он весь и зашагал большими шагами. Сам под собой ног не слышит. «Ну, – думает, – теперь не уйдет, на месте захвачу!»

Не дошел Иван еще двух прогалков, как вдруг засветилось ярко-ярко, да уж не на том месте и не маленький огонек, а полымем вспыхнула солома под застрехой и на крышу несет, и Гаврило стоит, и всего его видно.

Как ястреб на жаворонка, бросился Иван на Хромого. «Скручу, – думает, – не уйдет теперь!» Да услыхал, видно, Хромой шаги, оглянулся и, откуда прыть взялась, заковылял, как заяц, вдоль сарая.

– Не уйдешь! – закричал Иван и налетел на него. Только он хотел ухватить его за шиворот, вывернулся у него из-под рук Гаврило, поймал его Иван за полу. Пола оборвалась, и упал Иван. Вскочил Иван: «Караул! держи!» – и побежал опять.

Пока он поднимался, Гаврило уже был у своего двора, но и тут Иван настиг его. И только хотел сцапать, как вдруг оглоушило его что-то по голове, как камнем ударило по темени: это Гаврило у двора поднял дубовый кол и, когда Иван подбегал к нему, со всего маху ударил его в голову.

Очумел Иван, посыпались у него искры из глаз, потом потемнело, и зашатался он. Когда он опомнился, Гаврилы не было; было светло, как днем, и со стороны его двора, как машина шла, гудело и трещало что-то. Иван повернулся и увидал, что задний сарай его полыхал весь, боковой сарай захватило, и огонь, и дым, и оскретки соломы с дымом гнало на избу.

– Что ж это, братцы! – вскрикнул Иван, поднял руки и хлопнул ими себя по ляжкам. – Ведь мне бы только выдернуть из застрехи да затоптать! Что ж это, братцы! – повторил он.

Хотел закричать – дух захватило, голоса не было. Хотел бежать – ноги не двигались, одна за другую цеплялась. Пошел шагом – зашатался, опять дух захватило. Постоял, отдышался, опять пошел. Покуда он обошел сарай и дошел до пожара, боковой сарай весь полыхал, захватило уже и угол избы, и ворота, и из избы валил огонь, и ходу во двор не было. Народу сбежалось много, но делать нечего было. Соседи вытаскивали свое и сгоняли с дворов свою скотину. После

Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу. Снесло половину деревни.

У Ивана только вытащили старика, да сами повыскочили в чем были, а то все осталось; кроме лошадей в ночном, вся скотина сгорела, куры погорели на насестях, телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в закромах, все сгорело.

У Гаврилы скотину выгнали и кое-что повытаскали.

Горело долго, всю ночь. Иван стоял около своего двора, смотрел и только все приговаривал: «Что ж это, братцы! только бы выхватить да затоптать». Но когда завалился потолок в избе, он полез в самый жар, ухватил обгорелое бревно и потащил его из огня. Бабы увидали его и стали звать назад, но он вытащил бревно и полез за другим, да пошатнулся и упал на огонь. Тогда сын полез за ним и вытащил его. Опалил себе Иван и бороду и волосы, прожег платье и испортил руку, и ничего не чуял. «Это он с горя одурел», — говорил народ. Стал пожар утихать, а Иван все стоял и только приговаривал: «Братцы, что ж это! только бы выхватить». К утру прислал за Иваном староста сына.

— Дядя Иван, твой родитель помирает, велел тебя звать проститься.

Забыл Иван и про отца и не понял, что ему говорят.

— Какой, — говорит, — родитель? Кого звать?

— Велел тебя звать — проститься, он у нас в избе помирает. Пойдем, дядя Иван, — сказал старостин сын и потянул его за руку. Иван пошел за старостиным сыном.

Старика, когда выносили, окинуло соломой с огнем и обожгло. Его снесли к старосте на дальнюю слободу. Слобода эта не сгорела.

Когда Иван пришел к отцу, в избе была только одна старушка старостина и ребята на печке. Все были на пожаре. Старик лежал на лавке с свечкой в руке и косился на дверь. Когда сын вошел, он зашевелился. Старуха подошла к нему и сказала, что пришел сын. Он велел позвать его ближе. Иван подошел, и тогда старик заговорил.

— Что, Ванятка, — сказал он, — говорил я тебе. Кто сжег деревню?

— Он, батюшка, — сказал Иван, — он, я и застал его. При мне он и огонь в крышу сунул. Мне бы только выхватить клок соломы с огнем да затоптать, и ничего бы не было.

— Иван, — сказал старик. — Моя смерть пришла, и ты помирать будешь. Чей грех?

Иван уставился на отца и молчал, ничего не мог выговорить.

— Перед Богом говори: чей грех? Что я тебе говорил?

Тут только очнулся Иван и все понял. И засопел он носом и сказал:

— Мой, батюшка! — И пал на колени перед отцом, заплакал и сказал:

— Прости меня, батюшка, виноват я перед тобой и перед Богом.

Старик подвигал руками, перехватил в левую руку свечку и потащил правую ко лбу, хотел перекреститься, да не дотащил и остановился.

— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! — сказал он и скосил глаза опять на сына.

— Ванька! а Ванька!

— Что, батюшка?

— Что ж надо делать теперь?

Иван все плакал.

– Не знаю, батюшка, – сказал он. – Как теперь и жить, батюшка?

Закрыл глаза старик, помулявил губами, как будто с силами собирался, и опять открыл глаза и сказал:

– Проживете. С Богом жить будете – проживете.

Помолчал еще старик, ухмыльнулся и сказал:

– Смотри ж, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грех покрой. Бог два простит.

И взял старик свечку в обе руки, сложил их под сердцем, вздохнул, потянулся и помер.

Иван не сказал на Гаврилу, – и никто и не узнал, от чего был пожар,

И сошло у Ивана сердце на Гаврилу, и дивился Гаврило Ивану, что Иван на него никому не сказал. Сначала боялся его Гаврило, а потом и привык. Перестали ссориться мужики, перестали и семейные. Пока строились, жили обе семьи в одном дворе, а когда отстроилась деревня и дворы разместили шире, Иван с Гаврилой остались опять соседями, в одном гнезде.

И жили Иван с Гаврилой по-соседски, так же, как жили старики, и помнит Иван Щербаков наказ старика и Божье указание, что тушить огонь надо в начале.

И если ему кто худое сделает, норовит не другому за то выместить, а норовит, как дело поправить; а если ему кто худое слово скажет, норовит не то что еще злее ответить, а как бы того научить, чтобы не говорить худого; и так и баб и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков и стал жить лучше прежнего.

Два старика
Иоан. IV, 19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.

21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.

22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев.

23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

I
Собрались два старика Богу молиться в старый Иерусалим. Один был богатый мужик, звали его Ефим Тарасыч Шевелев. Другой был небогатый человек Елисей Бодров.

Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался и человек был строгий и твердый. Два срока проходил Ефим Тарасыч в старостах и высадился без начета. Семья у него была большая: два сына и внук женатый, и все жили вместе. Из себя он был мужик здоровый, бородастый и прямой, и на седьмом десятке только стала седина в бороде пробивать. Елисей был старичок ни богатый, ни бедный, хаживал прежде по плотничной работе, а под старость стал дома жить и водить пчел. Один сын в добычу ходил, другой – дома. Человек был Елисей добродушный и веселый. Пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был смирный, с домашними и с соседями жил дружно. Из себя Елисей был мужичок невысокий, черноватенький, с курчавой бородкой и, по своему святому – Елисею-пророку, с лысиной во всю голову.

Давно пообещались старики и сговорились вместе идти, да все Тарасычу недосуг было: не перемежались у него дела. Только одно кончается, другое затевается: то внука женит, то из солдатства сына меньшого поджидает, а то избу затеял новую класть.

Сошлись раз старики праздником, сели на бревнах.

– Что ж, – говорит Елисей, – когда оброк отбывать пойдем?

Поморщился Ефим.

– Да погодить, – говорит, – надо, год нынче мне трудный вышел. Затеял я эту избу класть, думал, что-нибудь на сотню накину, а она уж в третью лезет. И то все не довел. Видно, уж до лета. На лето, коли Бог даст, беспременно пойдем.

– На мой разум, – говорит Елисей, – откладывать нечего, идти надо нынче. Самое время – весна.

– Время-то время, да дело расчато, как его бросить?

– Разве у тебя некому? Сын дела поделает.

– Как поделает-то! Большак-то у меня ненадежен – зашибает.

– Помрем, кум, будут жить и без нас. Надо и сыну поучиться.

– Так-то так, да все хочется при своем глазе дело свершить.

– Эх, милый человек! Дел всех никогда не перевершишь. Вот намеднись у меня бабы к празднику моют, убираются. И то надо и другое, всех дел не захватят. Старшая сноха, баба умная, и говорит: «Спасибо, – говорит, – праздник приходит, нас не дожидается, а то, – говорит, – сколько б ни делали, всего бы не переделали».

Задумался Тарасыч.

– Денег, – говорит, – много извел я в эту постройку, а в поход тоже не с пустыми руками идти. Деньги немалые – 100 рублей.

Засмеялся Елисей.

– Не греши, – говорит, – кум. Твой достаток против моего в десять раз, а ты про деньги толкуешь. Только скажи, когда выходить, – у меня и нет, да будут.

Ухмыльнулся и Тарасыч.

– Вишь, богач какой объявился, – говорит, – где же возьмешь-то?

– Да дома поскребу – наберу сколько-нибудь, а чего не хватит – ульев с десяток с выставки соседу отдам. Давно уж просит.

– Роевщина хорошая будет, тужить будешь.

– Тужить?! Нет, кум! В жизнь ни о чем, кроме о грехах, не тужил. Дороже души ничего нет.

– Оно так, да все неладно, как по дому неуправка.

– А как у вас по душе-то неуправка будет, тогда хуже. А обреклись – пойдем! Право, пойдем.

II

И уговорил Елисей товарища. Подумал, подумал Ефим, наутро приходит к Елисею.

– Что ж, пойдем, – говорит, – правду ты говоришь. В смерти да в животе Бог волен. Пока живы да силы есть, идти надо.

Через недельку собрались старики.

У Тарасыча были деньги дома. Взял он себе 100 рублей на дорогу, 200 рублей старухе оставил.

Собрался и Елисей; продал соседу 10 ульев с выставки, и приплод, сколько будет от 10 колодок, тоже соседу. Взял за все 70 рублей. Остальные 30 рублей по дому под метелочку у всех обобрал. Старуха свои последние отдала, на похоронки

берегла, сноха свои дала.

Приказал Ефим Тарасыч все дела старшему сыну: и где сколько покосов взять, и куда навоз вывезти, и как избу выделать и покрыть. Всякое дело обдумал – все приказал. А Елисей только наказал старухе, чтоб от проданных ульев молодых особо сажать и соседу без обмана отдать, а про домашние дела и говорить не стал: само дело, мол, покажет, что и как делать надо. Сами хозяева, для себя сделаете, как лучше.

Собрались старики. Напекли домашних лепешек, пошили сумки, отрезали онуч новых, обули бахилки новые, взяли запасных лаптей и пошли. Проводили домашние их за околицу, распрощались, и пошли старики в путь-дорогу.

Вышел Елисей с веселым духом и, как отошел от деревни, так все дела свои забыл. Только и думки у него, как бы дорогой товарищу угодить, как бы кому грубого слова не сказать, как бы в мире и любви до места дойти и домой вернуться. Идет Елисей дорогой и все сам про себя либо молитву шепчет, либо жития, какие знает, на память твердит. А сойдется на пути с человеком или на ночлег придет, со всяким норовит как бы поласковее обойтись да по-Божьи слово сказать. Идет – радуется. Одного дела не мог сделать Елисей. Хотел бросить табак нюхать и тавлинку дома оставил, да скучно стало. Дорогой дал ему человек. И нет-нет, отстанет от товарища, чтоб его в грех не вводить, и понюхает.

Идет и Ефим Тарасыч хорошо, твердо, худого не делает и пустого не говорит, да нет у него легкости на душе. Не выходит у него из головы забота про домашнее. Все поминает, что дома делается. Не забыл ли он чего сыну приказать и так ли сын делает? Увидит по дороге – картофель садят или навоз везут, и думает: так ли по приказу его сын делает. Так бы, кажется, вернулся и все бы показал и сам сделал.

III

Шли пять недель старики, домашние лапти избили, уж новые покупать стали и пришли в хохлатчину. От дома шли, за ночлег и за обед платили, а пришли к хохлам, стали их наперебой к себе люди зазывать. И пустят, и покормят, и денег не берут, а еще на дорогу в сумки им хлеба, а то и лепешек накладут. Прошли так вольно старики сот семь, прошли еще губернию и пришли в неурожайное место. Пускать пускали и денег за ночлег не брали, а кормить перестали. И хлеба не везде давали, другой раз и за деньги не добьются. Прошлый год, рассказывал народ, не родилось ничего. Которые богаты были, разорились, все распродали, которые средственно жили – на нет сошли; а бедняки – так или уехали совсем, или по миру ходят, либо дома кое-как перебиваются. Зимой мякину или лебеду ели.

Ночевали раз старики в местечке, купили хлеба фунтов 15, переночевали и вышли до зорьки, чтоб подальше до жару уйти. Прошли верст 10 и дошли до речки, сели, зачерпнули воды в чашку, помочили хлебца, поели и переобулись. Посидели, отдохнули. Достал Елисей рожок. Покачал на него головой Ефим Тарасыч.

– Как, – говорит, – такую пакость не бросить!

Махнул рукой Елисей.

– Пересилил, – говорит, – меня грех, что сделаешь!

Поднялись, пошли дальше. Прошли еще верст десяток. Пришли в большое село, прошли все насквозь. И уж жарко стало. Уморился Елисей, захотелось ему и отдохнуть и напиться, да не останавливается Тарасыч. Тарасыч в ходьбе крепче был, и трудненько было Елисею за ним тянуться.

– Напиться бы, – говорит.

– Что ж, напейся. Я не хочу.

Остановился Елисей.

– Ты, – говорит, – не жди, я только забегу вон в хатку, напьюсь. Живой рукой догоню.

– Ладно, – говорит.

И пошел Ефим Тарасыч один вперед по дороге, а Елисей повернул к хатке.

Подошел Елисей к хатке. Хатка небольшая, мазаная; низ черный, верх белый, да облупилась уж глина, давно, видно, не мазана, и крыша с одного бока раскрыта. Ход в хатку со двора. Вошел Елисей на двор; видит – у завалинки человек лежит безбородый, худой, рубаха в портки – по-хохлацки. Человек, видно, лег в холодок, да солнце вышло прямо на него. А он лежит и не спит. Окликнул его Елисей, спросил напиться – не отозвался человек. «Либо хворый, либо неласковый», – подумал Елисей и подошел к двери. Слышит – в хате дитя плачет. Постучал Елисей кольцом: «Хозяева!» Не откликаются. Постучал еще посошком в дверь. «Крещеные!» Не шевелятся. «Рабы Божии!» Не отзываются. Хотел Елисей уж и прочь идти, да слышит – из-за двери ровно охает кто-то. «Уж не беда ли какая-нибудь с людьми? Поглядеть надо!» И пошел Елисей в хату.

IV

Повернул Елисей кольцо – не заперто. Отложил дверь, пошел через сенцы. Дверь в хату отперта. Налево печь; прямо – передний угол; в углу – божница, стол; за столом – лавка, на лавке в одной рубахе старуха простоволосая сидит, голову на стол положила, а подле ней мальчишка худой, как восковой весь, а брюхо толстое, старуху за рукав дергает, а сам ревмя ревет, чего-то просит. Вошел Елисей в хату. В хате дух тяжелый. Смотрит – за печью на кровати женщина лежит. Лежит ничком и не глядит, только хрипит и ногу то вытянет, то подтянет. И швыряет ее с боку на бок, и от нее-то дух тяжкий, – видно, под себя ходит, и убрать ее некому. Подняла голову старуха, увидала человека.

– Чого, – говорит, – тобі треба? чого треба? Нема, чоловіче, нічого.

Понял Елисей, что она говорит, подошел к ней.

– Я, – говорит, – раба Божия, напиться зашел.

– Нема, кажу, нема. Нема чого й взяти. Иди собі.

Стал Елисей спрашивать: «Что ж, и здорового у вас али никого нет женщину убрать».

– Та нема нікого; чоловік на дворі помира, а ми туточки.

Замолчал было мальчик – чужого увидал, да как заговорила старуха, опять ухватил ее за рукав: «Хліба, бабусю! хліба», – и опять заплакал.

Только хотел спросить Елисей старуху, ввалился мужик в хату, прошел по стенке и хотел на лавку сесть, да не дошел и повалился в угол у порога. И не стал подыматься, стал говорить. По одному слову отрывает, скажет – отдышится, другое скажет.

– І болість, – говорит, – напала, голодні. Ось з голоду помирають! – показал мужик головой на мальчика и заплакал.

Встряхнул Елисей сумку за плечами, выпростал руки, скинул сумку наземь, потом поднял на лавку и стал развязывать. Развязал, достал хлеб, ножик, отрезал ломоть, подал мужику. Не взял мужик, а показал на мальчика и на девочку – им, мол, дай. Подал Елисей мальчику. Почуял мальчик хлеб, потянулся, ухватил ломоть обеими ручонками, с носом в ломоть ушел. Вылезла из-за печки еще девочка, уставилась на хлеб. Подал и ей Елисей. Отрезал еще кусок и старухе дал. Взяла и старуха, стала жевать.

– Воды бы, – говорит, – принести, уста запеклись. Хотела, – говорит, – я – вчера ли, сегодня, уж не помню – принести, упала, не дошла, и ведро там осталось, коли не взял кто.

Спросил Елисей, где колодезь у них. Растолковала старуха. Пошел Елисей, нашел ведро, принес воды, напоил людей. Поели ребята еще хлеба с водой, и старуха поела, а мужик не стал есть. «Не принимает, – говорит, – душа». Баба – та вовсе не поднималась и в себя не приходила, только металась на кровати. Пошел Елисей на село в лавку, купил пшена, соли, муки, масла. Разыскал топоришко, нарубил дров, стал печку топить. Стала ему девочка помогать. Сварил Елисей похлебку и кашу, накормил людей.

V
Поел мужик немножко, и старуха поела, а девочка с малышком и чашку всю вылизали и завалились обнявшись спать.

Стали мужик с старухой рассказывать, как все это с ними сталось.

– Жили мы, – говорят, – и допрежь того небогато, а тут не родилось ничего, стали с осени проедать, что было. Проели все – стали у соседей и добрых людей просить. Сперва давали, а потом отказывать стали. Которые бы и рады дать, да нечего. Да и просить-то совестно стало: всем должны – и деньгами, и мукой, и хлебом. Искал, – говорит мужик, – я себе работы – работы нет. Народ везде из-за корму в работу набивается. День поработаешь, да два так ходишь – работы ищешь. Стали старуха с девочкой ходить в даль побираться. Подаяние плохое, ни у кого хлеба нет. Все-таки кормились кое-как, думали, пробьемся так до новины. Да с весны совсем подавать перестали, а тут и болезнь напала. Пришло совсем плохо, день едим, а два нет. Стали траву есть. Да с травы ли, али так, напала на бабу болезнь. Слегла баба, и у меня, – говорит мужик, – силы нет. И поправиться не с чего.

– Одна я, – говорит старуха, – билась, да из сил выбилась и без еды и ослабла. Ослабла и девчонка, да и заробела. Посылали ее к соседям – не пошла. Забилась в угол и нейдет. Заходила соседка позавчера, да увидала, что голодные да больные, повернулась да и ушла. У ней у самой муж ушел, а малых детей кормить нечем. Так вот и лежали – смерти ждали.

Отслушал их речи Елисей, да и раздумал в тот же день идти догонять товарища и заночевал тут. Наутро встал Елисей, взялся по дому за работу, как будто сам он и хозяин. Замесил с старухой хлеба, истопил печку. Пошел с девчонкой по соседям добывать, что нужно. Чего ни хватится – ничего нет, все проедено: ни по хозяйству, ни из одежды. И стал Елисей припасать то, что нужно: что сам сделает, а что купит. Пробыл так Елисей один день, пробыл другой, пробыл и третий. Справился малышок, ходить стал по лавке, к Елисею ластится. А девочка совсем повеселела, во всех делах помогает. Все за Елисеем бегает: «Дiду! дiдусю!» Поднялась и старуха, к соседочке прошла. Стал и мужик по стенке ходить. Лежала только баба, да и та на третий день очнулась и стала есть просить. «Ну, – думает Елисей, – не чаял я столько времени прогулять, теперь пойду».

VI
На четвертый день подошли розговены, и думает Елисей: «Дай уж разговеюсь с людьми, куплю им кое-чего для праздника, а на вечер и пойду». Пошел Елисей опять на село, купил молока, муки белой, сала. Наварили, напекли они с старухой, а наутро сходил Елисей к обедне, пришел, разговелся с людьми. Встала в этот день и баба, стала бродить. А мужик побрился, чистую рубаху надел – старуха выстирала, – пошел на село к богатому мужику милости просить. Заложены были богатому мужику и покос и пашня, – так пошел просить, не отдаст ли покоса и пашни до новины. Вернулся к вечеру хозяин скучный и заплакал. Не помиловал богатый мужик, говорит: «Принеси деньги».

Задумался опять Елисей. «Как им, – думает, – теперь жить? Люди косить пойдут, им нечего: покос заложен. Поспеет рожь – люди убирать примутся (да и родилась же она хорошо матушка!), а им и приждать нечего: продана у них десятина ихняя богатому мужику. Уйду я, они опять так же собьются». И разбился Елисей мыслями и не пошел с вечера – отложил до утра. Пошел спать на двор. Помолился, лег и не может заснуть: и идти-то надо – уж и так и денег и времени много провел, и людей жалко. «Всех, видно, не оделишь. Хотел им водицы принести да хлебца по ломтю подать, а она, вишь, куда хватила. Теперь уж – покос да пашню выкупи. А пашню выкупи, – корову ребятам купи да лошадь мужику снопы возить. Видно, запутлялся ты, брат Елисей Кузьмич. Разъякорился, и толков не найдешь!» Поднялся Елисей, взял кафтан из-под головы, развернул, достал рожок, понюхал, думал мысли прочистить, ан нет: думал, думал, ничего не придумал. И идти надо, и людей жалко. А как быть, не знает. Свернул кафтан под голову и опять лег. Лежал, лежал, уж и петухи пропели, и совсем засыпать стал. Вдруг ровно разбудил его кто. Видит он, будто одет он совсем, и с сумкой и с посохом, и надо ему в ворота пройти, а отложены ворота, только чтоб пролезть одному. И идет он в ворота и зацепил с одной стороны сумкой, хотел отцепить, зацепился с другой стороны онучей, и онуча развязалась. Стал отцеплять, ан зацепился не за плетень, а это девчонка держит, кричит: «Дiду, дiдуся, хлiба!» Поглядел на ногу, а за онучу малышок держит, из окна старуха и мужик глядят. Проснулся Елисей, заговорил с

собой в голос. «Выкуплю, – говорит, – завтра пашню и покос, и лошадь куплю и муки до новины ребятам куплю. А то пойдешь за морем Христа искать, а в самом себе потеряешь. Надо справить людей!» И заснул Елисей до утра. Проснулся Елисей рано. Пошел к богатому мужику – рожь выкупил, отдал деньги и за покос. Купил косу, – и та продана была, – принес домой. Послал мужика косить, а сам пошел по мужикам: отыскал у кабачника продажную лошадь с телегой. Сторговался, купил, купил и муки мешок, на телегу положил и пошел корову покупать. Идет Елисей и нагоняет двух хохлушек. Идут бабы, промеж себя балакают. И слышит Елисей, что говорят бабы по-своему, а разбирает, что про него говорят.

– Бач, оце його значала не пізнали, така думка: простий чоловік. Зайшов, кажуть, напиться, та і там і зажив. Чого, чого не накупав він ім. Сама бачила, як свого дні у шинкаря коняку з возом купив. Ні мабуть таки э люди на світі. Треба піти подивиться.

Услыхал Елисей, понял, что его хвалят, и не пошел корову покупать. Вернулся к кабачнику, отдал деньги за лошадь. Запряг и поехал с мукой к хате. Подъехал к воротам, остановился и слез с телеги. Увидали хозяева лошадь – подивились. И думается им, что для них он лошадь купил, да не смеют сказать. Вышел хозяин, отворил ворота.

– Откуда, – говорит, – конь у тебя, дедушка?

– А купил, – говорит. – Дешево попалась. Накоси, мол, в ящик травки ей на ночь положить. Да и мешок сними.

Отпряг хозяин лошадь, снес мешок в амбар, накосил беремя травы, положил в ящик. Легли спать. Елисей лег на улице и туда с вечера свою сумку вынес. Заснул весь народ. Поднялся Елисей, увязал сумку, обулся, одел кафтан и пошел в путь за Ефимом.

VII

Отошел Елисей верст пять. Стало светать. Сел он под дерево, развязал сумку, стал считать. Сосчитал, осталось денег 17 рублей 20 копеек. «Ну, – думает, – с этим за море не переедешь! А Христовым именем собирать – как бы греха больше не было. Кум Ефим и один дойдет, за меня свечку поставит. А на мне видно, оброк до смерти останется. Спасибо, хозяин милостивый – потерпит».

Поднялся Елисей, встряхнул сумой за плечами и пошел назад. Только село то обошел кругом, чтоб его люди не видали. И домой скоро дошел Елисей. Туда шел – трудно казалось, через силу другой раз тянулся за Ефимом, а назад пошел, так ему Бог дал, что идет и устали не знает. Идет играючи посошком помахивает, по 70 верст в день уходит.

Пришел Елисей домой. Уж с поля убрались. Обрадовались домашние своему старику, стали расспрашивать: как и что, отчего от товарища отстал, отчего не дошел, домой вернулся? Не стал рассказывать Елисей.

– Да не привел, – говорит, – Бог; растерял дорогой деньги и отстал от товарища. Так и не пошел. Простите ради Христа!

И отдал старухе остальные деньги. Расспросил Елисей про домашние дела: все хорошо, все дела переделали, упущенья в хозяйстве нет, и живут все в мире и согласии.

Услыхали тем же днем и Ефимовы, что вернулся Елисей, пришли спрашивать про своего старика. И им то же сказал Елисей.

– Ваш, – говорит, – старик здорово пошел, разошлись мы, – говорит, – за три дня до Петрова дня, хотел я было догонять, да тут такие дела подошли: растерял я деньги и не с чем стало идти, так и вернулся.

Подивился народ: как так человек умный да так глупо сделал, – пошел и не дошел, только деньги провел? Подивились и забыли. И Елисей забыл. Взялся за работу по дому: заготовил с сыном дров на зиму, обмолотил с бабами хлеб, прикрыл сараи, убрал пчел, отдал 10 колодок пчел с приплодом соседу. Хотела его старуха утаить, сколько от проданных колодок отроилось, да Елисей сам знал, какие холостые, какие роились, и соседу вместо десяти семнадцать отдал. Убрался Елисей, услал

сына на заработки, а сам засел на зиму лапти плести и колодки долбить.

VIII

Весь тот день, как остался Елисей в хате у больных людей, ждал Ефим товарища. Отошел он недалеко и сел. Ждал, ждал, соснул, проснулся, еще посидел — нет товарища. Все глаза проглядел. Уж солнце за дерево зашло — нет Елисея. «Уж не прошел ли, — думает, — мимо меня, или не проехал ли (подвез кто), не приметил меня, пока я спал. Да нельзя же не видать ему. В степи далеко видно. Пойти назад, — думает, — а он вперед уйдет. Расстрянемся с ним, еще того хуже. Пойду вперед, на ночлеге сойдемся». Пришел в деревню, попросил десятского, чтобы, если придет такой старичок, отвести его в ту же хату. Не пришел на ночлег Елисей. Пошел дальше Ефим, спрашивал всех: не видали ли старичка лысенького? Никто не видал. Подивился Ефим и пошел один. «Сойдемся, — думает, — где-нибудь в Одессе и на корабле», — и перестал думать.

Сошелся дорогой с странником. Странник в скуфье, в подряснике и с длинными волосами, был и на Афоне и в другой раз идет в Иерусалим. Сошлись на ночлеге, разговорились и пошли вместе.

Дошли до Одессы хорошо. Трое суток прождали корабля. Богомольцев много дожидалось. Были с разных сторон. Опять порасспросил Ефим про Елисея — никто не видал.

Выправил Ефим билет заграничный — 5 рублей стало. Отдал 40 целковых за проезд туда и обратно, закупил хлеба, селедок на дорогу. Погрузили корабль, перевезли богомольцев, сел и Тарасыч с странником. Подняли якоря, отчалили, поплыли морем. День хорошо плыли; к вечеру поднялся ветер, пошел дождь, стало качать и корабль заливать. Взметался народ, стали бабы голосить, и из мужчин, которые послабее, стали по кораблю бегать, места искать. Нашел и на Ефима страх, только виду не показал: как где сел с прихода на полу, рядом с тамбовскими стариками, так и сидел всю ночь и день другой весь; только свои сумки держали и ничего не говорили. Затихло на третий день. На пятый день пристали к Царьграду. Которые странники высаживались на берег, ходили смотреть храм Софии-Премудрости, где теперь турки владеют; Тарасыч не высаживался, на корабле просидел. Только булки белой купил. Простояли сутки, опять поплыли морем. Останавливались еще у Смирны-города, у другого города Александрии и доплыли благополучно до Яфы-города. В Яфе высадка всем богомольцам — 70 верст пешеходу до Иерусалима. Тоже при высадке набрался страху народ: корабль высокий и с корабля вниз на лодки народ кидают, а лодку качает, того и гляди, не угодит в лодку, а мимо, человек двух замочило, а высадились все благополучно. Высадились, пошли пеши; на третий день к обеду дошли до Иерусалима. Стали за городом, на Русском подворье, билеты прописали, пообедали, пошли с странником по святыням, к самому Гробу Господню еще впуску не было. Пошли в патриарший монастырь, собрали туда всех поклонников, посадили женский пол и мужской пол особо. Велели разуться и сесть кругом. Вышел монах с полотенцем и стал всем ноги умывать; умоет, утрет и поцелует, и так всех обошел. Ефиму ноги обтер и поцеловал. Отстояли вечерню, заутреню, помолились, свечи поставили и подали поминанья за родителей. Тут и покормили и вино подносили. Наутро пошли в келью Марии Египетской, где она спасалась. Поставили свечи, молебен отслужили. Оттуда в Авраамов монастырь ходили. Видели Савеков сад — место, где Авраам сына заколоть хотел Богу. Потом ходили на то место, где Христос явился Марии Магдалине, и в церковь Якова, брата Господня. Все места показывал странник и везде сказывал, сколько где денег подавать надо. К обеду вернулись на подворье, поели. И только стали укладываться спать, взахался странник, стал свою одежу перебирать — шарить.

— Вытащили, — говорит, — у меня портмонет с деньгами, двадцать три рубля, — говорит, — было: две десятирублевые и три мелочью.

Потужил, потужил странник, делать нечего — легли спать.

IX

Лег Ефим спать, и напало на него искушенье. «Не вытаскивали, — думает, — у странника денег; у него, думается, их не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал, да и у меня рубль взял».

Подумает так Ефим и начнет сам себя укорять: «Что, — говорит, — мне человека судить, грешу я. Не стану думать». Только забудется, опять станет поминать, как странник на деньги приметлив и как он непохоже говорит, что у него портмонет

вытащили. «И не было, – думает, – у него денег. Один отвод».

Наутро встали и пошли к ранней обедне в большой храм Воскресенья – к Гробу Господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет.

Пришли к храму. Народу – странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сирян – собралось много. Пришел Ефим в Святые ворота с народом. Повел их монах. Провел их мимо стражи турецкой к тому месту, где снят с креста Спаситель и помазан и где 9 подсвечников больших горят. Все показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял; там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась; потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями; потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на Него терновый венец; потом – к столбу, к которому привязывали Христа, когда били Его. Потом видел Ефим камень с двумя дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать, да заторопился народ: заспешили все к самой пещере Гроба Господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере.

Хотел он отбиться от странника – все в мыслях грешит он на странника, – да не отстает от него странник, с ним вместе и к обедне ко Гробу Господню пошел.

Хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад прохода нет. Стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях: первое думает – обманывает его странник; второе думает – коли не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было.

X

Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед, в часовню, где самый Гроб и над Гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит, что за чудо! Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех, видит, стоит старичок в кафтане сермяжном, блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова. «Похож, – думает, – на Елисея. Да нельзя же ему быть! Нельзя ему прежде меня поспеть. Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было упредить. А на нашем корабле не было. Я всех богомольцев видел».

Только подумал так Ефим, стал молиться старичок и поклонился три раза: раз наперед Богу, а потом миру православному на обе стороны. И как повернул голову старичок на правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он, Бодров и есть – и борода черноватая, курчавая, и проседь на щеках, и брови, и глаза, и нос, и все обличье его. Самый он, Елисей Бодров.

Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел.

– Ай да Бодров, – думает, – куда наперед пролез! Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе найду его, своего странника в скуфье брошу и с ним стану ходить, авось и он меня проведет наперед.

И все смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошли обедни, зашатался народ, пошли прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили? Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор, ходил-ходил, искал-искал Елисея тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видел: которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье – не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил. Пропал и рубля не отдал. Остался Ефим один.

На другой день пошел опять Ефим к Гробу Господню с тамбовским стариком, на корабле с ним ехал. Хотел пролезть наперед, да опять отдавили его, и стал он у столба и молится. Поглядел наперед, опять под лампадами у самого Гроба Господня на переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря, и блестит лысина во всю голову. «Ну, – думает Ефим, – теперь уж не упущу его». Полез продираться наперед. Продрался – нет Елисея. Видно, ушел. И третий день опять у Гроба Господня смотрит – в самом святом месте стоит Елисей на самом на виду, руки развел и глядит кверху, точно видит что над собой. И светится его лысина во

всю голову. «Ну, – думает Ефим, – теперь уж не упущу его, пойду к выходу стану. Там уж не разминемся». Вышел Ефим, стоял-стоял, полден простоял: весь народ прошел – нет Елисея.

Пробыл шесть недель Ефим в Иерусалиме и побывал везде: и в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане, и на новую рубаху печать у Гроба Господня наложил, чтобы похорониться в ней, и воды из Иордана в склянку взял, и земли и свечей с благодатным огнем взял, и в восьми местах поминанья записал, извел все деньги, только бы домой дойти. И пошел Ефим назад к дому. Дошел до Яфы, сел на корабль, приплыл в Одессу и пошел пешеходом домой.

XI

Едет Ефим один тем же путем. Стал к дому приближаться, опять напала на него забота, как без него дома живут. «В год, – думает, – воды много утечет. Дом целый век собираешь, а разорить дом недолго. Как-то без него сын дела повел, как весна вскрылась, как скотина перезимовала, так ли избу выделали?» Дошел Ефим до того места, где он запрошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где запрошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут. Родилось хорошо в поле. Поправился народ, и прежнее горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где запрошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из-за хатки девочка в белой рубахе.

– Дiд! дiдко! до нас заходи.

Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка, ухватила полу, тащит к хате, а сама смеется.

Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком, тоже манит:

– Заходи, мол, дедушка, поужинать – переночуешь.

Зашел Ефим. «Кстати, – думает, – про Елисея спрошу: никак в эту самую хатку он тогда и напиться заходил».

Вошел Ефим, сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол. Молока достала, вареников, каши – поставила на стол. Поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головой женщина.

– Нам, – говорит, – нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы, Бога забыли, и наказал нас Бог так, что все только смерти ждали. Дошли летось до того, что все лежали – и есть нечего и больны. И помереть бы нам, да наслал нам Бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться, да увидал нас, пожалел, да и остался с нами. И поил, и кормил, и на ноги поставил, и землю выкупил, и лошадь с телегой купил, у нас кинул.

Вошла в хату старуха, перебила речь женщины.

– И сами мы не знаем, – говорит, – человек ли был, или ангел Божий. Всех-то любил, всех-то жалел, и ушел – не сказался, и молить за кого Бога – не знаем. Как теперь вижу: лежу я, смерти жду, смотрю – вошел старичок, немудрененький, так лысенький, воды напиться. Еще я подумала, грешная: что шляются? А он вон что сделал! Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал.

Вступилась и девочка.

– Нет, – говорит, – бабушка, он прежде сюда посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал.

И стали они спорить и все его слова и дела поминать: и где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал.

На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади, тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил.

– Не приди он к нам, – говорит, – мы бы все в грехах померли. Помирали мы в отчаянии, на Бога и на людей роптали. А он нас и на ноги поставил, и через него мы и Бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его Христос! Прежде как

скоты жили, он нас людьми сделал.

Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли.

Лежит Ефим и не спит, и не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме три раза в переднем месте.

«Так вот он где, – думает, – упередил меня! Мои труды приняты, нет ли, а его-то принял Господь».

Наутро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим – в путь-дорогу.

XII

Ровно год проходил Ефим. На весну вернулся домой. Пришел он домой к вечеру. Сына дома не было: в кабаке был. Пришел он выпивши, стал его Ефим расспрашивать. По всему увидал, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно, дела упустил. Стал его отец щунять. Стал сын грубиянить.

– Ты бы, – говорит, – сам поворочал, а то ты ушел ходить да еще деньги с собой унес все, а с меня спрашиваешь.

Рассерчал старик, побил сына.

Наутро вышел Ефим Тарасыч к старосте о сыне поговорить, идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке, здоровается:

– Здорово, кум, – говорит, – здорово ли, касатик, сходил?

Остановился Ефим Тарасыч.

– Слава Богу, – говорит, – сходил, твоего старика потерял, да, слышу, он домой вернулся.

И заговорила старуха – охотница была покалякать.

– Вернулся, – говорит, – кормилец, давно вернулся. Вскоре после Успенья, никак. Уж и рады же мы были, что его Бог принес! Скучно нам без него. Работа уж от него какая, – года его ушли. А все голова, и нам веселей. Уж и парень-то как радовался! Без него, – говорит, – как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный, любим мы его, уж как жалеем.

– Что ж, дома, что ль, он теперь?

– Дома, родной, на пчельнике, рои огребает. Хороша, – баит, – роевщина. Такую Бог дал силу пчеле, что старик и не запомнит. Не по грехам, – баит, – Бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет.

Пошел Ефим через сени, через двор на пчельник к Елисею. Вошел на пчельник, смотрит – стоит Елисей без сетки без рукавиц, в кафтане сером под березкой, руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у Гроба Господня стоял, а над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце, а вокруг головы золотые пчелки в венец свились, вьются, а не жалят его. Остановился Ефим.

Окликнула старуха Елисеева мужа.

– Кум, – говорит, – пришел!

Оглянулся Елисей, обрадовался, пошел куму навстречу, полегонечку пчел из бороды выбирает.

– Здорово, кум, здорово, милый человек… Хорошо сходил?

– Ноги сходили, и водицы тебе с Иордана-реки принес. Заходи, возьми, да принял ли Господь труды…

– Ну и слава Богу, спаси Христос.

Помолчал Ефим.

– Ногами был, да душой-то был ли, али другой кто…

– Божье дело, кум, Божье дело.

– Заходил тоже я на обратном в хату, где ты отстал…

Испугался Елисей, заторопился:

– Божье дело, кум, Божье дело. Что ж, заходи, что ли, в избу – медку принесу.

И замял Елисей речь, заговорил про домашнее. Вздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. И понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк – любовью и добрыми делами.

Свечка
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому

(Матф. V, 8–9).
Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и Бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников, как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было.

Завелся такой приказчик в господском имении. Крестьяне были на барщине. Земли было много, и земля была добрая; и воды, и луга, и леса, всего бы всем достало – и барину и мужикам, да поставил барин приказчиком своего дворового из другой вотчины.

Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам. Сам он был человек семейный – жена и две дочери замужем – и нажил уж он денег: жить бы да жить ему без греха, да завидлив был и завяз в грехе. Началось с того, что стал он мужиков сверх дней на барщину гонять. Завел кирпичный завод, всех – и баб и мужиков – поморил на работе, а кирпич продавал. Ходили мужики к помещику в Москву жаловаться, да не вышло их дело. Ни с чем отослал мужиков и не снял воли с приказчика. Прознал приказчик, что ходили мужики жаловаться, и стал им за то вымещать. Еще хуже стало житье мужикам. Нашлись из мужиков неверные люди: стали приказчику на своего брата доносить и друг дружку подводить. И спутался весь народ, и обозлился приказчик.

Дальше да больше, и дожил приказчик до того, что стал его народ бояться, как зверя лютого. Проедет по деревне, так все от него, как от волка, хоронятся, кто куда попало, только бы на глаза не попадаться. И видел это приказчик и еще пуще злился за то, что боятся его. И битьем и работой донимал народ, и много от него муки приняли мужики.

Бывало, что и изводили таких злодеев; и про этого стали поговаривать мужики. Сойдутся где в сторонке, кто посмелее и говорит: «Долго ли нам терпеть злодея нашего? Пропадать заодно – такого убить не грех!»

Собрались раз мужики в лесу до Святой: лес господский послал приказчик подчищать. Собрались в обед, стали толковать.

– Как нам, – говорят, – теперь жить? Изведет он нас до корня. Замучил работой: ни дня, ни ночи ни нам, ни бабам отдыха нет. А чуть что не по нем, придерется, порет. Семен от его поронья помер. Анисима в колодках замучал. Чего ж еще нам дожидать? Приедет вот сюда вечером, станет опять озорничать, – только сдернуть его с лошади, пристукнуть топором, да и делу конец. Зарыть где, как собаку, и концы в воду. Только уговор: всем стоять заодно, не выдавать!

Говорил так Василий Минаев. Пуще всех он был зол на приказчика. Порол он его каждую неделю и жену у него отбил, к себе в кухарки взял.

Поговорили так мужики, и приехал на вечер приказчик. Приехал верхом, сейчас

придрался, что не так рубят. Нашел в куче липку.

– Я, – говорит, – не велел рубить липы. Кто срубил? Сказывай, а то всех запорю!

Стал добираться, в чьем ряду липа. Показали на Сидора. Исколотил приказчик Сидору все лицо в кровь. Отхлестал и Василия татаркой за то, что куча мала. Поехал домой.

Сошлись опять вечером мужики, и стал говорить Василий:

– Эх, народ! Не люди, а воробьи. «Постоим, постоим», – а пришло дело, все под застреху. Так-то воробьи против ястреба собирались: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» А как налетел, все по крапиве. Так-то и ястреб ухватил, какого ему надо, поволок. Выскочили воробьи: «Чивик, чивик!» – недосчитываются одного. «Кого нет? Ваньки. Э туда ему и дорога. Он того и стоит». Так-то и вы. Не выдавать, так не выдавать! Как он взялся за Сидора, вы бы сгрудились да и покончили. А то: «Не выдавать, не выдавать, постоим, постоим!» – а как налетел, так и в кусты.

Стали так говорить чаще и чаще, и совсем собрались мужики уходить приказчика. Повестил на Страстной приказчик мужикам, чтобы готовились на Святой барщину под овес пахать. Обидно это показалось мужикам, и собрались они на Страстной у Василья на задворке и опять стали толковать.

– Коли он Бога забыл, – говорят, – и такие дела делать хочет, надо и вправду его убить. Пропадать заодно!

Пришел к ним и Петр Михеев. Смирный был мужик Петр Михеев и не шел в совет с мужиками. Пришел Михеев, послушал их речи и говорит:

– Грех вы, братцы, великий задумали. Душу погубить – великое дело. Чужую душу погубить легко, да своей-то каково? Он худо делает – перед ним худое. Терпеть, братцы, надо.

Рассердился на эти речи Василий.

– Заладил, – говорит, – одно: грех человека убить. Известно – грех, да какого, – говорит, – человека? Грех человека доброго убить, а такого собаку и Бог велел. Собаку бешеную убить надо, людей жалеючи. Не убить его – грех больше будет. Что он людей перепортит! А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам люди спасибо скажут. А слюни-то распусти, он всех перепортит. Пустое ты, Михеич, толкуешь. Что ж, разве меньше грех будет, как в Христов праздник все работать пойдем? Ты сам не пойдешь!

И заговорил Михеич.

– Отчего не пойти? – говорит. – Пошлют, и пахать поеду. Не себе. А Бог узнает, чей грех, только нам бы Его не забыть. Я, – говорит, – братцы, не свое говорю. Кабы нам показано было зло злом изводить, так бы нам и от Бога закон лежал-то, нам другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно в тебя перейдет. Человека убить не мудро, да кровь к душе липнет. Человека убить – душу себе окровенить. Ты думаешь – худого человека убил, думаешь – худо извел, ан глядь, ты в себе худо злее того завел. Покорись беде, и беда покорится.

Так и не договорились мужики: разбились мыслями. Одни так думают по Васильевым речам, другие на Петровы речи соглашаются, чтобы не заводить греха, а терпеть.

Отпраздновали мужики первый день, воскресенье. На вечер приходит староста с земским с барского двора и, сказывают – Михаил Семеныч, приказчик, велел назавтра наряжать мужиков, всем пахать под овес. Обошел староста с земским деревню, повестил всем назавтра выезжать пахать, кому за реку, кому от большой дороги. Поплакали мужики, а ослушаться не смеют, наутро выехали с сохами, принялись пахать. В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет, – мужики пашут.

Проснулся Михаил Семеныч, приказчик, не рано, пошел по хозяйству, убрались, нарядились домашние – жена, дочь вдовая (к празднику приехала); запряг им работник тележку, съездили к обедне, вернулись, поставила работница самовар,

пришел и Михаил Семеныч, стали чай пить. Напился Михаил Семеныч чаю, закурил трубку, позвал старосту.

– Ну что, мол, поставил мужиков на пахоту?

– Поставил, Михаил Семеныч.

– Что, все выехали?

– Все выехали, я их сам расставлял.

– Расставить-то расставил, да пашут ли? Поезжай посмотри, да скажи, что я после обеда приеду, чтоб десятину на две сохи выпахали, да чтоб пахали хорошо! Если огрех найду, я на праздник не посмотрю!

– Слушаю-с.

И пошел было староста, да Михаил Семеныч вернул его. Вернул его Михаил Семеныч, а сам мнется, хочет что-то сказать, да не знает как. Помялся, помялся да и говорит:

– Да вот что, послушай ты еще, что они, разбойники, говорят про меня. Кто ругает и что говорит – все мне расскажи. Я их разбойников, знаю, не любо им работать, только бы на боку лежать, лодырничать. Жрать да праздновать – это они любят, а того не думают, что пахоту пропустишь, опоздаешь. Так вот ты и отслушай от них речи, кто что скажет, все мне передай – мне это знать надо. Ступай да смотри все расскажи, ничего не утаивай.

Повернулся староста, вышел, сел верхом и поехал к мужикам в поле.

Услыхала приказчица мужнины речи с старостой, пришла к мужу и стала его просить. Приказчица была женщина смирная, и сердце в ней было доброе. Где могла, усмиряла мужа и затаивала перед ним мужиков.

Пришла она к мужу и стала просить.

– Друг ты мой, Мишенька, – говорит, – для Великого дня, праздника Господня, не греши ты ради Христа, отпусти мужиков!

Не принял Михаил Семеныч жениных речей, только засмеялся на нее.

– Али давно, – говорит, – по тебе плетка не гуляла, что ты больно смела стала, – не в свое дело вяжешься?

– Мишенька, друг ты мой, я сон про тебя видела нехороший, послушай ты меня, отпусти мужиков!

– То-то, – говорит, – я и говорю: видно, жиру много наела, думаешь, и плеть не проймет. Смотри!

Рассердился Семеныч, ткнул жену трубкой с огнем в зубы, прогнал от себя, велел обед подавать.

Поел Михаил Семеныч студню, пирога, щей со свининой, поросенка жареного, лапши молочной, выпил наливки вишневой, закусил сладким пирогом, позвал кухарку, посадил ее песни играть, а сам взял гитару и стал подыгрывать.

Сидит Михаил Семеныч с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется. Вошел староста, склонился и стал докладывать, что на поле видел.

– Ну что, пашут? Допашут урок?

– Уж больше половины вспахали.

– Огрехов нет?

– Не видал, хорошо пашут, боятся.

– А что, разборка земли хороша?

– Разборка земли мягкая, как мак рассыпается.

Помолчал приказчик.

– Ну, а что про меня говорят, – ругают?

Засмеялся было староста, да велел Михаил Семеныч всю правду говорить.

– Все говори, ты не свои слова, а ихние говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь их, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стакан для смелости.

Пошла кухарка, поднесла старосте. Поздравил староста, выпил, обтерся и стал говорить. «Все одно, – думает, – не моя вина, что не хвалят его; скажу правду, коли он велит». И осмелился староста и стал говорить:

– Ропщут, Михаил Семеныч, ропщут.

– Да что говорят? Сказывай.

– Одно говорят: он Богу не верует.

Засмеялся приказчик.

– Это, – говорит, – кто сказал?

– Да все говорят. Говорят, он, мол, нечистому покорился.

Смеется приказчик.

– Это, – говорит, – хорошо. Да ты порознь расскажи, что кто говорит. Васька что говорит?

Не хотелось старосте сказывать на своих, да с Василием у них давно вражда шла.

– Василий, – говорит, – пуще всех ругает.

– Да что говорит-то? Ты сказывай.

– Да и сказать страшно. Не миновать, – говорит, – ему беспокаянной смерти.

– Ай, молодец, – говорит. – Что ж он зевает-то, не убивает? Видно, руки не доходят? Ладно, – говорит, – Васька, посчитаемся мы с тобой. Ну, а Тишка-собака, тоже, я чай?

– Да все худо говорят.

– Да что говорят-то?

– Да повторять-то гнусно.

– Да что гнусно-то? Ты не робей сказывать.

– Да говорят, чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла.

Обрадовался Михаил Семеныч, захохотал даже.

– Посмотрим, у кого прежде вытекет. Это кто же? Тишка?

– Да никто доброго не сказал, все ругают, все грозятся.

– Ну, а Петрушка Михеев что? что он говорит? Тоже, говняк, ругается, я чай?

– Нет, Михаил Семеныч, Петр не ругается.

– Что ж он?

– Да он из всех мужиков один ничего не говорил. И мудреный он мужик! Подивился я на него, Михаил Семеныч!

– А что?

– Да что он сделал! И все мужики дивятся.

– Да что сделал-то?

– Да уж чудно очень. Стал я подъезжать к нему. Он на косой десятине у Туркина верха пашет. Стал я подъезжать к нему, слышу – поет кто-то, выводит тонко, хорошо так, а на сохе промеж обжей что-то светится.

– Ну?

– Светится, ровно огонек. Подъехал ближе, смотрю – свечка восковая пятикопеечная приклеена к распорке и горит, и ветром не задувает. А он в новой рубахе ходит, пашет и поет стихи воскресные. И заворачивает и отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне, переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет!

– А сказал что?

– Да ничего не сказал. Только увидал меня, похристосовался и запел опять.

– Что же, говорил ты с ним?

– Я не говорил, а подошли тут мужики, стали ему смеяться; вон, говорят, Михеич ввек греха не отмолит, что он на Святой пахал.

– Что ж он сказал?

– Да он только сказал: «На земле мир, в человецех благоволение!» – опять взялся за соху, тронул лошадь и запел тонким голосом, а свечка горит и не тухнет.

Перестал смеяться приказчик, поставил гитару, опустил голову и задумался.

Посидел, посидел, прогнал кухарку, старосту и пошел за занавес, лег на постель и стал вздыхать, стал стонать, ровно воз со снопами едет. Пришла к нему жена, стала его разговаривать; не дал ей ответа. Только и сказал:

– Победил он меня! Дошло теперь и до меня!

Стала его жена уговаривать:

– Да ты поезжай, отпусти их. Авось ничего! Какие дела делал, не боялся, а теперь чего ж так оробел?

– Пропал я, – говорит, – победил он меня.

Крикнула на него жена:

– Заладил одно: «Победил, победил». Поезжай, отпусти мужиков, вот и хорошо будет. Поезжай, я велю лошадь оседлать.

Привели лошадь, и уговорила приказчица мужа ехать в поле отпустить мужиков.

Сел Михаил Семеныч на лошадь и поехал в поле. Выехал в околицу, отворила ему ворота баба, въехал в деревню. Как только увидал народ приказчика, похоронились все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды.

Проехал всю деревню приказчик, подъехал к другим выездным воротам. Ворота заперты, а сам с лошади отворить не может. Покликал, покликал приказчик, чтоб ему отворили, никого не докликался. Слез сам с коня, отворил ворота и стал в воротищах опять садиться. Вложил ногу в стремя, поднялся, хотел на седло перекинуться, да испугалась лошадь свиньи, шарахнулась в частокол, а человек был грузный, не попал в седло, а перевалился пузом на частокол. Один был только в

частоколе кол, заостренный сверху, да и повыше других. И попади он пузом прямо на этот кол. И пропорол себе брюхо, свалился наземь.

Приехали мужики с пахоты; фыркают, нейдут лошади в ворота. Поглядели мужики — лежит навзничь Михаил Семеныч, руки раскинул, и глаза остановились, и нутро все на землю вытекло! И кровь лужей стоит, — земля не впитала.

Испугались мужики, повели лошадей задами, один Петр Михеич слез, подошел к приказчику, увидал, что помер, закрыл ему глаза, запряг телегу, взвалил с сыном мертвого в ящик и свез к барскому дому.

Узнал про все дела барин и от греха отпустил мужиков на оброк.

И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила Божия.

Три старца
А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него (Матф. VI, 7–8).

Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы — которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками — беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок: ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.

— Не стесняйтесь, братцы, — сказал архиерей. — Я тоже послушать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь.

— Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал, — сказал один купец посмелее.

— Что про старцев? — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. — Расскажи и мне, я послушаю. Что ты показывал?

— Да вот островок маячит, — сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. — На этом самом островке и старцы живут, спасаются.

— Где же островок? — спросил архиерей.

— Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска, виднеется.

Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки.

— Не вижу, — говорит. — Так какие же тут старцы на острове живут?

— Божьи люди, — ответил крестьянин. — Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел.

И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой и как прибило его к острову этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли и еще два, покормили и обсушили его и помогли лодку починить.

— Какие же они из себя? — спросил архиерей.

— Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам все улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул как ушат, не успел я и подсобить ему, — тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и нагой весь,

только рогожкой опоясан.

– Что ж они говорили с тобой? – спросил архиерей.

– Все больше молча делали и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся, – и затих большой. Только сказал древний «помилуй нас» и улыбнулся.

Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам.

– Вот теперь вовсе видно стало, – сказал купец. – Вот извольте посмотреть, ваше преосвященство, – сказал он, показывая.

Архиерей стал смотреть. И точно увидал черную полоску – островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме, подошел к кормчему.

– Какой это островок, – говорит, – тут виднеется?

– А так, безыменный. Их много тут.

– Что, правда, говорят, тут старцы спасаются?

– Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки, говорят, видали. Да тоже, бывает, и зря болтают.

– Я желаю пристать к острову – повидать старцев, – сказал архиерей. – Как это сделать?

– Кораблем подойти нельзя, – сказал кормчий. – На лодке можно, да надо старшого спросить.

Вызвали старшого.

– Хотелось бы мне посмотреть этих старцев, – сказал архиерей. – Нельзя ли свезти меня?

Стал старшой отговаривать.

– Можно-то можно, да много времени проведем, и, осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские.

– Я желаю, – сказал архиерей. – Я заплачу за труды, свезите меня.

Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно, – говорит, – вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят».

Посмотрел архиерей в трубу, навел куда надо; точно, стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький, стоят на берегу, за руки держатся.

Подошел старшой к архиерею.

– Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим.

Сейчас распустили трос, кинули якорь, спустили парус, – дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли как камень кинуть; видят – стоят три старца: высокий – нагой, рогожкой опоясан, пониже – в кафтане рваном, и древненький сгорбленный – в ряске старенькой; стоят все трое, за руки держатся.

Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей.

Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей:

— Слышал я, — говорит, — что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу-Богу молитесь, а я здесь, по милости Божьей, недостойный раб Христов, Его паству пасти призван; так хотел я вас, рабов Божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать.

Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают.

— Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите, — сказал архиерей.

Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец и сказал: «Не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, себя кормим».

— Как же вы Богу молитесь? — спросил архиерей.

И древний старец сказал: «Молимся мы так: трое Вас, трое нас, помилуй нас!»

И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу и все трое сказали: «Трое Вас, трое нас, помилуй нас!»

Усмехнулся архиерей и сказал:

— Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божии, вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить Ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего Писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться Ему.

И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл Себя людям: растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и сказал:

— Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной.

И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», и повторил и другой: «Отче наш», повторил и третий: «Отче наш». — «Иже еси на небесех». Повторили старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал; не выговорил и высокий, нагой старец: ему усы рот заросли — не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древний беззубый старец.

Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала.

И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и еще раз сказать ее и еще повторить, и другие прочли всю молитву.

Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю.

И плыл к кораблю архиерей, и все слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце: стоят на берегу, на том же месте, три старца — один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль, и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и

сел там и все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок скрылся, одно море играло на месячном свете.

Улеглись богомольцы спать, и затихло все на палубе. Но не хотелось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море, туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как радовались они тому, что научились молитве, и благодарил Бога за то, что привел Он его помочь Божьим старцам, научить их слову Божию.

Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся. И рябит у него в глазах – то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном: птица ли, чайка или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей. «Лодка, – думает, – на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже. А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать архиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему:

– Погляди, – говорит, – что это? Что это, братец? Что это? – спрашивает архиерей, а уж сам видит – бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю приближаются.

Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громким голосом:

– Господи! Старцы за нами по морю, как посуху, бегут!

Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: бегут старцы, рука с рукой держатся – крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как посуху, бегут и ног не передвигают.

Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос:

– Забыли, раб Божий, забыли твое ученье! Пока твердили – помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило – забыли, все рассыпалось. Ничего не помним, научи опять.

Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал:

– Доходна до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас, грешных!

И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сиянье с той стороны, куда ушли старцы.

Как чертенок краюшку покупал

Выехал бедный мужик пахать, не завтракамши, и взял с собой из дома краюшку хлеба. Перевернул мужик соху, отвязал сволока, положил под куст; тут же положил краюшку хлеба и накрыл кафтаном. Уморилась лошадь, и проголодался мужик. Воткнул мужик соху, отпряг лошадь, пустил ее кормиться, а сам пошел к кафтану пообедать. Поднял мужик кафтан – нет краюшки; поискал, поискал, повертел кафтан, потряс – нет краюшки. Удивился мужик. «Чудное дело, – думает. – Не видал никого, а унес кто-то краюшку». А это чертенок, пока мужик пахал, утащил краюшку и сел за кустом послушать, как будет мужик ругаться и его, черта, поминать.

Потужил мужик.

– Ну, да, – говорит, – не умру с голоду! Видно, тому нужно было, кто ее унес. Пускай ест на здоровье!

И пошел мужик к колодцу, напился воды, отдохнул, поймал лошадь, запряг и стал опять пахать.

Смутился чертенок, что не навел мужика на грех, и пошел сказаться набольшему черту. Явился к набольшему и рассказал, как он у мужика краюшку унес, а мужик за место того, чтобы выругаться, сказал: «На здоровье!» Рассердился набольший

дьявол.

– Коли, – говорит, – мужик в этом деле верхб над тобою взял, ты сам в этом виноват: не умел. Если, – говорит, – мужики, а за ними и бабы такую повадку возьмут, нам уж не при чем и жить станет. Нельзя этого дела так оставить! Ступай, – говорит, – опять к мужику, заслужи эту краюшку. Если ты в три года сроку не возьмешь верхб над мужиком, я тебя в святой воде выкупаю!

Испугался чертенок, побежал на землю, стал придумывать, как свою вину заслужить. Думал, думал и придумал.

Обернулся чертенок добрым человеком и пошел к бедному мужику в работники. И научил он мужика в сухое лето посеять хлеб в болоте. Послушался мужик работника, посеял в болоте. У других мужиков все солнцем сожгло, а у бедного мужика вырос хлеб густой, высокий, колосистый. Прокормился мужик до нови, и осталось еще много хлеба. На лето научил работник мужика посеять хлеб на горах. И выпало дождливое лето. У людей хлеб повалился, попрел, и зерна не налило, а у мужика на горах обломный хлеб уродился. Осталось у мужика еще больше лишнего хлеба. И не знает мужик, что с ним делать.

И научил работник мужика затереть хлеб и вино курить. Накурил мужик вина, стал сам пить и других поить. Пришел чертенок к набольшему и стал хвалиться, что заслужил краюшку. Пошел набольший посмотреть.

Пришел к мужику, видит – созвал мужик богачей, вином их угощает. Подносит хозяйка вино гостям. Только стала обходить, зацепилась за стол, пролила стакан. Рассердился мужик, разбранил жену.

– Ишь, – говорит, – чертова дура! разве это помои, что ты, косолапая, такое добро наземь льешь?

Толконул чертенок набольшего локтем: «Примечай, – говорит, – как он теперь не пожалеет краюшки».

Разбранил хозяин жену, стал сам подносить. Приходит с работы бедный мужик, незваный; поздоровался, присел, видит – люди вино пьют; захотелось и ему с устали винца выпить. Сидел-сидел, глотал-глотал слюни, – не поднес ему хозяин; только про себя пробормотал: «Разве на всех вас вина напасешься!»

Понравилось и это набольшему черту. А чертенок хвалится: «Погоди, то ли еще будет».

Выпили богатые мужики, выпил и хозяин. Стали они все друг к дружке подольщаться: друг дружку хвалить и масленые облыжные речи говорить.

Послушал, послушал набольший, – похвалил и за это: «Коли, – говорит, – от этого питья так лисить будут да друг дружку обманывать, они у нас все в руках будут». – «Погоди – говорит чертенок, – что дальше будет; дай они по другому стаканчику выпьют. Теперь они, как лисицы, друг перед дружкой хвостами виляют, друг дружку обмануть хотят, а погляди, сейчас как волки злые сделаются».

Выпили мужики по другому стаканчику, стала у них речь погромче и погрубее. Вместо масленых речей стали они ругаться, стали друг на дружку обозляться, сцепились драться, исколупали друг дружке носы. Ввязался в драку и хозяин, избили и его.

Поглядел набольший, и понравилось ему и это.

– Это, – говорит, – хорошо.

А чертенок говорит: «Погоди, толи еще будет! Дай они выпьют по третьему. Теперь они как волки остервенились, дай срок, по третьему выпьют, то как свиньи сделаются».

Выпили мужики по третьему и посолодели совсем. Бормочут, кричат сами не знают что и друг дружку не слушают. Пошли расходиться – кто порознь, кто по двое, кто по трое, – повалялись все по улицам. Вышел провожать гостей хозяин, упал носом в лужу, измазался весь, лежит, как боров, хрюкает.

Еще пуще понравилось это набольшему.

«Ну, – говорит, – хорошо питье ты выдумал, заслужил краюшку. Скажи ж ты мне, – говорит, – как ты это питье сделал? Не иначе ты сделал, как напустил туда сперва лисьей крови: от нее-то мужик хитрый, как лисица, сделался. А потом – волчьей крови: от нее-то он обозлился, как волк. А под конец подпустил ты, видно, свиной крови: от нее-то он свиньей стал».

– Нет, – говорит чертенок, – я не так. Я ему всего только и сделал, что хлеба лишнего зародил. Она, эта кровь звериная всегда в нем живет, да ей ходу нет, когда хлеба с нужду рожается. Тогда он и последней краюшки не жалел, а как стали лишки от хлеба оставаться, стал он придумывать, как бы себя потешить. И научил я его потехе – вино пить. А как стал он Божий дар в вино курить для своей потехи, поднялась в нем и лисья, и волчья, и свиная кровь. Теперь только бы вино пил, всегда зверем будет.

Похвалил набольший чертенка, простил его за краюшку хлеба и у себя в старших поставил.

Кающийся грешник
И сказал Иисусу: помяни меня. Господи, когда приидешь в царствие Твое. – И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю

(Лук. XXIII, 42–43).
Жил на свете человек 70 лет, и прожил он всю жизнь в грехах. И заболел этот человек и не каялся. И когда пришла смерть, в последний час заплакал он и сказал: «Господи! как разбойнику на кресте, прости мне!» Только успел сказать – вышла душа. И возлюбила душа грешника Бога, и поверила в милость Его, и пришла к дверям рая.

И стал стучаться грешник и проситься в Царство Небесное.

И услыхал он голос из-за двери:

– Какой человек стучится в двери райские? и какие дела совершил человек этот в жизни своей?

И отвечал голос обличителя, и перечислил все грешные дела человека этого, и не назвал добрых дел никаких.

И отвечал голос из-за двери:

– Не могут грешники войти в Царство Небесное. Отойди отсюда.

И сказал человек:

– Господи! голос Твой слышу, а лица не вижу и имени Твоего не знаю.

И ответил голос:

– Я – Петр-апостол.

И сказал грешник:

– Пожалей меня, Петр-апостол, вспомни слабость человеческую и милость Божию. Не ты ли был ученик Христов, не ты ли из самих уст Его слышал учение Его и видел пример жизни Его? А вспомни, когда Он тосковал и скорбел душою и три раза просил тебя не спать, а молиться, и ты спал, потому глаза твои отяжелели, и три раза Он застал тебя спящим. Так же и я.

А вспомни еще, как обещал Ему Самому до смерти не отречься от Него и как ты три раза отрекся от Него, когда повели Его к Каиафе. Так же и я.

И вспомни еще, как запел петух и ты вышел вон и заплакал горько. Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.

И затих голос за дверьми райскими.

И, постояв недолго, опять стучаться грешник стал и проситься в Царство Небесное.

И послышался из-за дверей другой голос и сказал:

– Кто человек этот? И как жил он на свете?

И отвечал голос обличителя, и опять повторил все худые дела грешника, и не назвал добрых дел никаких. И отвечал голос из-за двери:

– Отойди отсюда: не могут такие грешники жить с нами вместе в раю.

И сказал грешник:

– Господи, голос Твой слышу, но лица Твоего не вижу и имени Твоего не знаю.

И сказал ему голос:

– Я – царь и пророк Давид.

И не отчаялся грешник, не отошел от двери рая и стал говорить:

– Пожалей меня, царь Давид, и вспомни слабость человеческую и милость Божию. Бог любил тебя и возвеличил пред людьми. Все было у тебя – и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, и увидел ты с крыши жену бедного человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия, и убил его самого мечом амонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого. То же делал и я.

И вспомни потом, как ты покаялся и говорил: «Я сознаю вину свою и сокрушаюсь о грехе своем». Так же и я. Нельзя тебе не впустить меня.

И затих голос за дверьми.

И, постояв недолго, опять стал стучаться грешник и проситься в Царство Небесное. И послышался из-за дверей третий голос и сказал:

– Кто человек этот? и как прожил он на свете?

И отвечал голос обличителя, и в третий раз перечислил худые дела человека, и не назвал добрых. И отвечал голос из-за двери:

– Отойди отсюда: не могут грешники войти в Царство Небесное.

И отвечал грешник:

– Голос Твой слышу, но лица не вижу и имени Твоего не знаю.

И отвечал голос:

– Я – Иоанн Богослов, любимый ученик Христа.

И обрадовался грешник и сказал:

– Теперь нельзя не впустить меня: Петр и Давид впустят меня за то, что они знают слабость человеческую и милость Божию. А ты впустишь меня потому, что в тебе любви много. Не ты ли, Иоанн Богослов, написал в книге своей, что Бог есть любовь и что кто не любит, тот не знает Бога? Не ты ли при старости говорил людям одно слово: «Братья, любите друг друга!» Как же ты теперь возненавидишь и отгонишь меня? Или отрекись от того, что сказал ты сам, или полюби меня и впусти в Царство Небесное.

И отворились врата райские, и обнял Иоанн кающегося грешника и впустил его в Царство Небесное.

Крестник
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб; а Я говорю вам: не противься злому

(Матф. V, 38–39).
Мне отмщение, Я воздам

(Римл. XII, 19).

I

Родился у бедного мужика сын. Обрадовался мужик, пошел к соседу звать в кумовья. Отказался сосед: неохота к бедному мужику в кумовья идти. Пошел бедный мужик к другому, и тот отказался.

Всю деревню исходил, нейдет никто в кумовья. Пошел мужик в иную деревню. И попадается ему навстречу прохожий человек. Остановился прохожий человек.

– Здравствуй, – говорит, – мужичок; куда Бог несет?

– Дал мне, – говорит мужик, – Господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души; а по бедности моей никто в нашей деревне в кумовья нейдет. Иду кума искать.

И говорит прохожий человек:

– Возьми меня в кумовья.

Обрадовался мужик, поблагодарил прохожего человека и говорит:

– Кого же в кумы звать?

– А в кумы, – говорит прохожий человек, – позови купеческую дочь. Поди в город, на площади каменный дом с лавками, у входа в дом проси купца, чтоб отпустил дочь в крестные матери.

Усумнился мужик.

– Как мне, – говорит, – нареченный кум, к купцу-богачу идти? Побрезгает он мной, не отпустит дочь.

– Не твоя печаль. Ступай – проси. К завтраму, к утру, изготовься, – приду крестить.

Воротился бедный мужик домой, поехал в город к купцу. Поставил лошадь на дворе. Выходит сам купец.

– Чего надо? – говорит.

– Да вот, господин купец, дал мне Господь детище: во младости на посмотрение, под старость на утешение, а по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти дочь свою в крестные.

– А когда у тебя крестины?

– Завтра утром.

– Ну хорошо, ступай с Богом, завтра к обедне приедет.

На другой день приехала кума, пришел и кум, окрестили младенца. Только окрестили младенца, вышел кум, и не узнали, кто он; и не видали с тех пор.

II

Стал младенец возрастать на радость родителям: и силен, и работящ, и умен, и смирен. Стал мальчик десяти годов. Отдали его родители грамоте учиться. Чему другие пять лет учатся, в один год выучился мальчик. И нечего ему учить стало.

Пришла Святая неделя. Сходил мальчик к крестной матери, похристосовался, воротился домой и спрашивает:

– Батюшка и матушка, где живет мой крестный? Я бы к нему пошел, похристосовался.

И говорит ему отец:

– Не знаем мы, сынок любезный, где твой крестный живет. Мы сами о том тужим. Не видали его с тех пор, как он тебя окрестил. И не слыхали про него, и не знаем, где живет, не знаем, и жив ли он.

Поклонился сын отцу, матери.

– Отпусти меня, – говорит, – батюшка с матушкой, моего крестного искать. Хочу его найти, с ним похристосоваться.

Отпустили сына отец с матерью. И пошел мальчик искать своего крестного.

III

Вышел мальчик из дому и пошел путем-дорогой. Прошел половину дня, встречается ему прохожий человек. Остановился прохожий.

– Здравствуй, – говорит, – мальчик, куда Бог несет?

И сказал мальчик:

– Ходил я, – говорит, – к матушке крестной христосоваться, пришел домой, спросил у родителей: где живет мой крестный, хотел с ним похристосоваться. Сказали мне родители: не знаем мы, сынок, где живет твой крестный. С тех пор как окрестили тебя, ушел он от нас, и ничего мы про него не знаем и не знаем, жив ли он. И захотелось мне повидать своего крестного; так вот иду искать его. И сказал прохожий человек:

– Я твой крестный.

Обрадовался мальчик, похристосовался с крестным.

– Куда ж ты, – говорит, – батюшка крестный, теперь путь держишь? Если в нашу сторону, так приходи в наш дом, а если к себе домой, так я с тобой пойду.

И сказал крестный:

– Недосуг мне теперь в твой дом идти: мне по деревням дело есть. А к себе домой я назавтра буду. Тогда приходи ко мне.

– Как же я тебя, батюшка, найду?

– А вот иди все на восход солнца, все прямо, придешь в лес, увидишь среди леса – полянка. Сядь на этой полянке, отдохни – гляди, что там будет. Выйдешь из лесу, увидишь сад, а в саду палата с золотой крышей. Это мой дом. Подойди к воротам. Я тебя сам там встречу.

Сказал так крестный и пропал из глаз крестника.

IV

Шел мальчик, как велел ему крестный. Шел, шел приходит в лес. Вышел на полянку и видит, среди полянки сосна, а на сосне укреплена на суку веревка, а на веревке привешен чурбан дубовый, пуда на три. А под чурбаном корыто с медом. Только подумал мальчик, зачем тут мед поставлен и чурбан привешен, затрещало в лесу, и видит, идут медведи: впереди медведица, за ней пестун годовалый и позади еще трое медвежат маленьких. Потянула медведица в себя носом и пошла прямо к корыту, а медвежата за ней. Сунула медведица морду в мед, позвала медвежат, подскочили медвежата, припали к корыту. Откачнулся чурбан недалеко, вернулся назад, толкнул медвежат. Увидала это медведица, оттолкнула чурбан лапой. Откачнулся подальше чурбан, опять назад пришел, ударил в середину медвежат – кого по спине, кого по голове. Заревели медвежата, отскочили прочь. Рявкнула медведица, ухватила обеими лапами чурбан над головой, махнула его от себя прочь. Улетел высоко чурбан, подскочил пестун к корыту, уткнул морду в мед, чавкает, стали и другие подходить. Не успели подойти, прилетел чурбан назад, ударил пестуна по голове, убил его до смерти. Заревела пуще прежнего медведица, как схватит чурбан да пустит его изо всех сил вверх, – взлетел чурбан выше сука, даже веревка ослабла. Подошла медведица к корыту, и все медвежата за ней. Летел, летел чурбан кверху, остановился, пошел книзу. Что ниже, то шибче расходится. Разошелся шибко, налетел на медведицу, как чебурахнет ее по башке, – перевернулась медведица, подергала ногами и издохла. Разбежались медвежата.

V

Подивился мальчик и пошел дальше. Приходит к большому саду, а в саду высокие палаты с золотой крышей. И у ворот стоит крестный, улыбается. Поздоровался с сыном крестный, ввел его в ворота и повел по саду. И во сне не снилось мальчику такой красоты и радости, какая в этом саду была.

Ввел крестный мальчика в палаты. Палаты еще лучше. Провел крестный мальчика по всем горницам: одна другой лучше, одна другой веселее, и привел его к запечатанной двери.

– Видишь ли, – говорит, – эту дверь? Замка на ней нет, только печати. Отворить ее можно, да не велю я тебе. Живи ты и гуляй, где хочешь и как хочешь, всеми радостями радуйся, только один тебе заказ: в эту дверь не входи. А если и войдешь, так попомни, что ты в лесу видел.

Сказал это крестный и ушел. Остался крестник один и стал жить. И так ему весело и радостно было, что думалось ему, что прожил он тут только три часа, а прожил он тут тридцать лет. И как прошло тридцать лет, подошел крестник к запечатанной двери и подумал: «Отчего не велел мне крестный входить в эту горницу? Дай пойду посмотрю, что там такое?»

Толканул дверь, отскочили печати, отворилась дверь. Вошел крестник и видит – палаты больше всех и лучше всех, и в середине палат стоит золотой престол. Походил, походил крестник по палатам и подошел к престолу, взошел по ступеням и сел. Сел и видит – у престола жезл стоит. Взял крестник в руки жезл. Только что взял в руки жезл, вдруг отвалились все четыре стены в палатах. Поглядел кругом себя крестник и видит весь мир и все, что в миру люди делают. Посмотрел прямо – видит море, корабли плавают. Посмотрел в левую сторону – христианские, да нерусские живут. Посмотрел в четвертую сторону – наши русские живут. «Дай, – говорит, – посмотрю, что у нас дома делается, хорошо ли у нас хлеб родился?» Посмотрел на поле на свое, видит, крестцы стоят. Стал он считать крестцы, много ли хлеба, и видит, едет на поле телега и сидит в ней мужик. Думал крестник, что родитель его едет ночью снопы поднимать. Смотрит: это Василий Кудряшов, вор, едет. Подъехал к копнам, стал накладывать. Досадно стало крестнику. Закричал он: «Батюшка, снопы с поля крадут!»

Проснулся отец в ночном. «Приснилось мне, – говорит, – что снопы крадут: дай поеду посмотрю». Сел на лошадь – поехал.

Приезжает на поле, увидал Василия, скричал мужиков. Избили Василия. Связали, повели в острог.

Поглядел еще крестник на город, где его крестная жила. Видит, замужем за купцом. И лежит она, спит, а муж ее встал, идет к любовнице. Закричал крестник купчихе: «Вставай, твой муж худыми делами занялся!»

Вскочила крестная, оделась, разыскала, где ее муж, иссрамила, избила любовницу и мужа от себя прогнала.

Поглядел еще крестник на свою мать и видит, лежит она в избе, и влез в избу разбойник и стал сундук ломать.

Проснулась мать, закричала. Увидал разбойник, схватил топор, замахнулся на мать, хочет ее убить.

Не сдержался крестник, как пустит жезлом в разбойника, прямо в висок ему попал, убил на месте. Только убил крестник разбойника, опять затворились стены, стали опять палаты, как были.

Отворилась дверь, входит крестный. Подошел крестный к сыну своему, взял его за руку, свел с престола и говорит:

– Не послушал ты моего приказания: одно худое дело сделал – отворил запрещенную дверь; другое худое дело сделал – на престол взошел и в руки мой жезл взял; третье худое дело сделал – много зла на свете прибавил. Коли ты еще час посидел, ты бы половину людей перепортил.

И ввел крестный опять крестника на престол, взял в руки жезл. И опять отвалились стены, и все видно стало.

И сказал крестный:

– Смотри теперь, что ты своему отцу сделал: Василий теперь год в остроге просидел, всем злодействам научился и остервенел. Смотри, вон он у отца твоего двух лошадей угнал и, видишь, ему уж и двор запаливает. Вот что ты своему отцу сделал.

Только увидал крестник, что загорелся отцов двор, закрыл от него это крестный, велел смотреть в другую сторону.

– Вот, – говорит, – муж твоей крестной уж год теперь, как бросил жену, с другими на стороне гуляет, а она с горя пить стала, а любовница его прежняя совсем пропала. Вот что ты с своей крестной сделал.

Закрыл и это крестный, показал на его дом. И увидал он свою мать: плачет она о своих грехах, кается, говорит: «Лучше бы меня тогда разбойник убил, – не наделала бы я столько грехов».

– Вот что ты своей матери сделал.

Закрыл и это крестный и показал вниз. И увидал крестник разбойника: держат разбойника два стража перед темницей. И сказал ему крестный:

– Этот человек девять душ загубил. Ему бы надо самому свои грехи выкупать, а ты его убил, все грехи его на себя снял. Теперь тебе за все его грехи отвечать. Вот что ты сам себе сделал. Медведица раз чурбан толканула – медвежат потревожила; другой раз толканула – пестуна убила, а третий раз толканула – сама себя погубила. То же и ты сделал. Даю тебе теперь сроку на тридцать лет. Иди в мир, выкупай разбойниковы грехи. Если не выкупишь, тебе на его место идти. И сказал крестник:

– Как же мне его грехи выкупить?

И сказал крестный:

– Когда в мире столько же зла изведешь, сколько завел, тогда и свои и разбойниковы грехи выкупишь.

И спросил крестник:

– Как же в мире зло изводить?

Сказал крестный:

– Иди ты прямо на восход солнца, придет поле, на поле люди. Примечай, что люди делают, и научи их тому, что знаешь. Потом иди дальше, примечай то, что увидишь; придешь на четвертый день к лесу, в лесу келья, в келье старец живет, расскажи ему все, что было. Он тебя научит. Когда все сделаешь, что тебе старец велит, тогда свои и разбойниковы грехи выкупишь.

Сказал так крестный и выпустил крестника за ворота.

VII

Пошел крестник. Идет и думает: «Как мне на свете зло изводить? Изводят на свете зло тем, что злых людей в ссылки ссылают, в тюрьмы сажают и казнями казнят. Как же мне делать, чтобы зло изводить, а на себя чужих грехов не снимать?» Думал, думал крестник, не мог придумать.

Шел, шел, приходит к полю. На поле хлеб вырос – хороший, густой, и жать пора. Видит крестник, зашла в этот хлеб телушка, и увидали люди, посели верхами, гоняют по хлебу телушку из стороны в сторону. Только хочет телушка из хлеба выскочить, наедет другой, испугается телушка, опять в хлеб; опять за ней скачут по хлебу. А на дороге стоит баба, плачет: «Загоняют они, – говорит, – мою телушку».

И стал крестник говорить мужикам:

– Зачем вы так делаете? Вы выезжайте все вон из хлеба. Пусть хозяйка свою телушку покличет.

Послушались люди. Подошла баба к краю, начала кликать: «Тпрюси, тпрюси, буреночка, тпрюси, тпрюси!..» Насторожила телушка уши, послушала, послушала, побежала к бабе, прямо ей под подол мордой, – чуть с ног не сбила. И мужики рады, и баба рада, и телушка рада.

Пошел крестник дальше и думает: «Вижу я теперь, что зло от зла умножается. Что больше гоняют люди зло, то больше зла разводят. Нельзя, значит, зло злом изводить. А чем его изводить – не знаю. Хорошо, как телушка хозяйку послушала, а то как не послушает, как ее вызвать?»

Думал, думал крестник, ничего не придумал, пошел дальше.

VIII

Шел, шел, приходит к деревне. Попросился в крайней избе ночевать. Пустила хозяйка. В избе никого нет, только одна хозяйка моет.

Вошел крестник, влез на печку и стал глядеть, что хозяйка делает; видит – вымыла хозяйка избу, стала стол мыть. Вымыла стол, стала вытирать грязным ручником. Станет в одну сторону стирать – не стирается стол. От грязного ручника полосами грязь по столу. Станет в другую сторону стирать – одни полосы сотрет, другие сделает. Станет опять вдоль вытирать – опять то же. Пачкает грязным ручником; одну грязь сотрет, другую налепит. Поглядел, поглядел крестник и говорит:

– Что ж ты это, хозяюшка, делаешь?

– Разве не видишь, – говорит, – к празднику мою. Да вот никак стол не домою, все грязно, измучилась совсем.

– Да ты бы, – говорит, – ручник выполоскала, а тогда б стирала.

Сделала так хозяйка, живо вымыла стол.

– Спасибо, – говорит, – что научил.

Наутро распрощался крестник с хозяйкой, пошел дальше. Шел, шел, пришел в лес. Видит – гнут мужики ободья. Подошел крестник, видит – кружатся мужики, а ободне загибается. Посмотрел крестник и говорит:

– Что это вы, братцы, делаете?

– Да вот ободья гнем. И два раза парили, измучились совсем, – не загибаются.

– Да вы, братцы, стуло-то укрепите, а то вы с ним вместе кружитесь.

Послушались мужики, укрепили стуло, пошло у них дело на лад.

Переночевал у них крестник, пошел дальше. Весь день и ночь шел, перед зарей подошел к гуртовщикам, прилег он около них. И видит: уставили гуртовщики скотину и разводят огонь. Взяли сухих веток, зажгли, не дали разгореться, наложили на огонь сырого хворосту. Зашипел хворост, затух огонь.

Взяли гуртовщики еще суши, зажгли, опять навалили хворосту сырого, – опять затушили. Долго бились, не разожгли огня. И сказал крестник:

– Вы не спешите хворост накладывать, а прежде разожгите хорошенько огонь. Когда жарко разгорится, тогда уж накладывайте.

Сделали так гуртовщики; разожгли сильно, наложили хворост. Занялся хворост, разгорелся костер. Побыл с ними крестник и пошел дальше. Думал, думал крестник, к чему он эти три дела видел, – не мог понять.

IX

Шел, шел крестник, прошел день. Приходит в лес, в лесу – келья. Подходит

крестник к келье, стучится. Спрашивает из кельи голос:

– Кто там?

– Грешник великий, иду чужие грехи выкупать.

Вышел старец и спрашивает:

– Какие такие чужие грехи на тебе?

Рассказал ему все крестник: и про отца крестного, и про медведицу с медвежатами, и про престол в запечатанной палате, и про то, что ему крестный велел, и про то, как он на поле мужиков видел, как они весь хлеб стоптали и как телушка к хозяйке сама вышла.

– Понял я, – говорит, – что нельзя зло злом изводить, а не могу понять, как его изводить надо. Научи меня.

И сказал старец:

– А скажи мне, что ты еще по дороге видел?

Рассказал ему крестник про бабу, как она мыла, и про мужиков, как они ободья гнули, и про пастухов, как они огонь разводили.

Выслушал старец, вернулся в келью, вынес топоришко щербатый.

– Пойдем, – говорит.

Отошел старец на поприще от кельи, показал на дерево.

– Руби, – говорит.

Срубил крестник, упало дерево.

– Руби теперь натрое.

Разрубил крестник натрое. Зашел опять в келью старец, принес огня.

– Сожги, – говорит, – эти три чурака.

Развел крестник огонь, сжег три чурака, остались три головешки.

– Зарой в землю наполовину. Вот так.

Зарыл крестник.

– Видишь, под горой река, носи оттуда воду во рту, поливай. Эту головешку поливай так, как ты бабу учил. Эту поливай, как ты ободчиков научил. А эту поливай, как ты пастухов научил. Когда прорастут все три и из головешек три яблони вырастут, тогда узнаешь, как в людях зло изводить, тогда и грехи выкупишь.

Сказал это старец и ушел в свою келью. Думал, думал крестник, не мог понять, что ему сказал старец. А стал делать, как ему велено.

X

Пошел крестник к реке, набрал полон рот воды, вылил на головешку, пошел еще и еще: сто раз сходил, пока землю около одной головешки смочил. Потом еще: полил и другие две. Уморился крестник, захотелось ему есть. Пошел в келью у старца пищи попросить. Отворил дверь, а старец мертвый на лавочке лежит. Осмотрелся крестник, нашел сухариков, поел; нашел и заступ и стал старцу могилку копать. Ночью воду носил, поливал, а днем могилу копал. Только выкопал могилу, хотел хоронить, пришли из деревни люди, старцу пищи принесли.

Узнали люди, что старец помер и благословил крестника на свое место.

Похоронили люди старца, оставили крестнику хлеба; обещались принести еще и ушли.

И остался крестник на старцевом месте жить. Живет крестник, кормится тем, что ему люди носят, а повеленное дело делает – во рту из реки воду носит, головешки поливает.

Прожил так крестник год, и стало к нему много людей ходить. Прошла про него слава, что живет в лесу святой человек, спасается, ртом из-под горы воду носит, горелые пни поливает. Стало к нему много народу ходить. Стали и богатые купцы ездить, ему подарки возить. Не брал ничего себе крестник, кроме нужды, а что ему давали, то другим бедным раздавал.

И стал так жить крестник: половину дня воду во рту носит, головешки поливает, а другую половину отдыхает и народ принимает.

И стал думать крестник, что так ему велено жить, этим самым зло изводить и грехи выкупать.

Прожил так крестник и другой год, ни одного дня не пропустил, чтобы не полить, а все не проросла ни одна головешка.

Сидит он раз в келье, слышит – едет мимо него человек верхом и песни поет. Вышел крестник, посмотрел, что за человек. Видит – человек сильный, молодой. Одежда на нем хорошая, и лошадь и седло под ним дорогие.

Остановил его крестник и спросил, что он за человек и куда едет. Остановился человек.

– Я, – говорит, – разбойник, езжу по дорогам, людей убиваю: что больше людей убью, то веселей песни пою.

Ужаснулся крестник, думает: «Как в таком человеке зло извести? Хорошо мне тем говорить, которые ко мне ходят, сами каются. А этот злом хвалится». Ничего не сказал крестник, пошел прочь да подумал: «Как теперь быть, повадится этот разбойник здесь ездить, напугает он народ, перестанут ко мне люди ходить. И им пользы не будет, да и мне тогда как жить будет?»

И остановился крестник. И стал разбойнику говорить:

– Сюда, – говорит, – ко мне люди ходят не злом хвалиться, а каяться и грехи отмаливать. Покайся и ты, если Бога боишься; а не хочешь каяться, так уезжай отсюда и не приезжай никогда, меня не смущай и народ от меня не отпугивай. А если не послушаешь, покарает тебя Бог.

Засмеялся разбойник.

– Не боюсь, – говорит, – я Бога и тебя не послушаю. Ты мне не хозяин. Ты, – говорит, – своим богомольством кормишься, а я разбоем кормлюсь. Всем кормиться надо. Ты баб, что к тебе ходят, учи, а меня учить нечего. А за то, что ты мне про Бога помянул, я завтра лишних двух людей убью. И тебя бы нынче убил, да не хочется рук марать. А впредь не попадайся.

Погрозил так разбойник и уехал. И не проезжал больше разбойник, и жил крестник по-прежнему спокойно. Прожил так крестник восемь лет, и скучно ему стало.

XI

Полил раз ночью крестник свои головешки, пришел в келью отдохнуть и сидит, глядит на тропочку, скоро ли народ придет. И не пришел в этот день ни один человек. Просидел крестник один до вечера, и скучно ему стало, и раздумался он о своей жизни. Вспомнил он, как разбойник его укорил за то, что он своим богомольством кормится. И оглянулся крестник на свою жизнь. «Не так, – думает, – я живу, как мне старец велел. Старец мне епитимию наложил, а я из нее хлеб да славу людскую сделал. И так соблазнился на нее, что скучно мне, когда ко мне народ не ходит. А когда ходит народ, то я только и радуюсь тому, как они мою святость прославляют. Не так жить надо. Запутался я славой людскою. Прежних грехов не выкупил, а новые нажил. Уйду я в лес, в другое место, чтоб меня народ не нашел. Стану один жить так, чтобы старые грехи выкупать, а новых не наживать».

Подумал так крестник и взял мешочек сухарей и заступ и пошел прочь от кельи к оврагу, чтобы в глухом месте себе земляночку выкопать – от людей укрыться.

Идет крестник с мешочком и с заступом, наезжает на него разбойник. Испугался крестник, хотел бежать, да догнал его разбойник.

– Куда идешь? – говорит.

Рассказал ему крестник, что хочет он от народа уйти в такое место, чтоб никто к нему не ходил. Удивился разбойник.

– Чем же ты, – говорит, – теперь кормиться будешь, когда к тебе люди ходить не будут?

И не подумал об этом прежде крестник, а как спросил его разбойник, вспомнил он и про пищу.

– А чем Бог даст, – говорит.

Ничего не сказал разбойник, поехал дальше. «Что ж, – думает крестник, – я ему ничего про его жизнь не сказал! Может, он теперь покается. Нынче он как будто помягче и не грозится убить». И прокричал крестник вслед разбойнику:

– А все ж тебе покаяться надо. От Бога не уйдешь.

Повернул лошадь разбойник. Выхватил нож из-за пояса, замахнулся на крестника. Испугался крестник, убежал в лес. Не стал его догонять разбойник, только сказал:

– Два раза простил тебя, старик, в третий не попадайся – убью!

Сказал так и уехал. Пошел вечером крестник головешки поливать, глядь – одна ростки пустила. Яблонька из нее растет.

XII

Скрылся от людей крестник и стал один жить. Вышли у него сухари. «Ну, – думает, – теперь корешков поищу». Только пошел искать, видит – на суку мешочек с сухарями висит. Взял его крестник и стал кормиться.

Только вышли сухари, опять другой мешочек на том же суку нашел. И жил так крестник. Только одно у него горе было – разбойника боялся. Как заслышит разбойника, так спрячется, думает: «Убьет он меня, так и не успеешь грехов выкупить». Прожил так еще десять лет. Яблонька одна росла, а две головешки как были головешками, так и оставались.

Встал раз рано крестник, пошел свое дело исполнять, смочил землю у головешек, уморился и присел отдохнуть. Сидит, отдыхает и думает: «Согрешил я – стал смерти бояться. Захочет Бог, так и смертью грехи выкуплю». Только подумал так, вдруг слышит – едет разбойник, ругается. Услыхал крестник и думает: «Кроме Бога, ни худого, ни доброго ни от кого мне не будет», – и пошел к разбойнику навстречу. Видит: едет разбойник не один, а везет за собой на седле человека. А у человека и руки и рот завязаны. Молчит человек, а разбойник на него ругается. Подошел крестник к разбойнику, стал пред лошадью.

– Куда ты, – говорит, – этого человека везешь?

– А везу в лес. Это купцов сын. Не сказывает он, где отцовские деньги спрятаны. Буду я его до тех пор пороть, пока он скажет.

И хотел разбойник проехать. Да не пустил крестник, схватил лошадь за узду.

– Отпусти, – говорит, – этого человека.

Рассердился разбойник на крестника, замахнулся на него.

– Иль, – говорит, – и тебе того же хочется? Я тебе обещал, что убью. Пусти.

Не испугался крестник.

– Не пущу, – говорит. – Не боюсь я тебя, я только Бога боюсь. А Бог не велит пускать. Отпусти человека.

Нахмурился разбойник, выхватил нож, перерезал веревки, пустил купцова сына.

– Убирайтесь, – говорит, – вы оба, не попадайтесь в другой раз.

Соскочил купцов сын, побежал. Хотел разбойник проехать, да остановил его еще крестник; стал ему еще говорить, чтобы бросил он свою дурную жизнь. Постоял разбойник, выслушал все, ничего не сказал и уехал.

Наутро пошел крестник поливать головешки. Глядь, и другая проросла, – тоже яблонька растет.

Прошло еще десять лет. Сидит раз крестник, ничего ему не хочется, ничего не боится, и радуется в нем сердце. И думает себе крестник: «Какая людям от Бога благодать! А мучают они себя понапрасну. Жить бы да жить им в радости». И вспомнил он про все зло людское, как они себя мучают. И жалко ему стало людей. «Напрасно, – думает, – я так живу; пойти надо сказать людям, что я знаю».

Только подумал он и слышит – едет разбойник. Пропустил он его и думает: «С этим что и говорить, не поймет».

Подумал сперва так, а потом передумал, вышел на дорогу. Едет разбойник пасмурный, в землю смотрит. Поглядел на него крестник, и жалко ему стало, подбежал к нему, ухватил его за колено.

– Брат милый, – говорит, – пожалей свою душу! Ведь в тебе дух Божий. Мучаешься ты, и других мучаешь, и еще хуже мучаться будешь. А Бог тебя как любит, какую тебе благодать припас! Не губи ты себя, братец. Перемени свою жизнь.

Нахмурился разбойник, отвернулся.

– Отстань, – говорит.

Обхватил крестник еще крепче разбойника за колено и слезами заплакал.

Поднял разбойник глаза на крестника. Смотрел, смотрел, слез с лошади и пал перед крестником на колена.

– Победил, – говорит, – ты меня, старик. Двадцать лет я с тобой боролся. Осилил ты меня. Не властен я теперь над собой. Делай со мной, что хочешь. Когда ты меня, – говорит, – в первый раз уговаривал, я только больше озлился. А задумался я, – говорит, – над твоими речами только тогда, когда ты от людей уходил и узнал, что тебе самому от людей ничего не нужно.

И вспомнил крестник, что тогда только баба стол вымыла, когда ручник выполоскала: перестал он о себе заботиться, очистил сердце и стал другие сердца очищать.

И сказал разбойник:

– А повернулось во мне сердце тогда, когда ты смерти не побоялся.

И вспомнил крестник, что тогда только ободчики ободья загибать стали, когда стуло утвердили: перестал он смерти бояться, утвердил свою жизнь в Боге, и покорилось непокорное сердце.

И сказал разбойник:

– А растаяло во мне вовсе сердце, только когда ты пожалел меня и заплакал передо мною.

Обрадовался крестник, повел с собой разбойника к тому месту, где головешки были. Подошли они, а из последней головешки тоже яблоня выросла. И вспомнил крестник, что тогда загорелись сырые дрова у пастухов, когда разжегся большой огонь. Разгорелось в нем сердце и разожгло другое.

И обрадовался крестник тому, что он теперь грехи выкупил.

Сказал это все разбойнику и помер. Похоронил его разбойник, стал жить, как велел ему крестник, и так людей учить.

Карма[1]

Посылаю вам переведенную мною из американского журнала «Open Court» буддийскую сказочку под заглавием «Карма». Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той, часто с разных сторон в последнее время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть такого приспособления, посредством которого, помимо своего личного усилия, достигалось бы свое или общее благо. Разъяснение это в особенности хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть благом, и он оборвался. Сказочка эта как бы с новой стороны освещает две основные, открытые христианством, истины: о том, что жизнь только в отречении от личности – кто погубит душу, тот обретет ее, – и что благо людей только в их единении с Богом и через Бога между собою: «Как ты во Мне и Я в тебе, так и они да будут в нас едино…» (Иоан. XVII, 21).

Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди больших же после чтения ее всегда возникали разговоры о самых важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая рекомендация.

P.S. Письмо это для печати.

Л.Толстой

Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал с своим слугой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, который шел по тому же направлению, он подумал сам с собой: «Этот монах имеет благородный и святой вид. Общение с добрыми людьми приносит счастье; если он также идет в Бенарес, я приглашу его ехать со мной в моей колеснице». И, поклонившись монаху, он спросил его, куда он идет, и, узнав, что монах, имя которого было Нарада, идет также в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу.

– Благодарю вас за вашу доброту, – сказал монах брамину, – я, действительно, измучен продолжительным путешествием. Не имея собственности, я не могу вознаградить вас деньгами, но может случиться, что я буду в состоянии воздать вам каким-либо духовным сокровищем из богатства знания, которое я приобрел, следуя учению Сакия Муни, блаженного великого Будды, учителя человечества.

Они поехали вместе в колеснице, и Панду дорогою слушал с удовольствием поучительные речи Нарада. Проехав один час, они подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон и телега земледельца с сломанным колесом загораживала путь.

Девала, владетель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой рис, и торопился поспеть до зари следующего утра. Если бы он опоздал днем, покупатели риса могли уже уехать из города, скупив нужное им количество риса.

Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и приказал Магадуте, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону, так, чтобы колесница могла проехать. Земледелец противился, потому что воз его лежал так близко к обрыву, что мог рассыпаться, если его тронуть, но брамин не хотел слушать земледельца и приказал своему слуге сбросить воз с рисом. Магадута, необыкновенно сильный человек, находивший удовольствие в оскорблении людей, повиновался, прежде чем монах мог вступиться, и сбросил воз. Когда Панду проехал и хотел продолжать свой путь, монах выскочил из его колесницы и сказал:

– Извините меня, господин, за то, что я покидаю вас. Благодарю вас за то, что вы по своей доброте позволили мне проехать один час в вашей колеснице. Я был измучен, когда вы посадили меня, но теперь благодаря вашей любезности я отдохнул. Признав же в этом земледельце воплощение одного из ваших предков, я не могу ничем лучше вознаградить вас за вашу доброту, как тем, чтобы помочь ему в

его несчастье.

Брамин взглянул с удивлением на монаха.

– Вы говорите, что этот земледелец есть воплощение одного из моих предков; этого не может быть.

– Я знаю, – отвечал монах, – что вам неизвестны те сложные и значительные связи, которые соединяют вас с судьбою этого земледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он видел, и потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе, и постараюсь защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь нанести себе.

Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли; чувствуя же, что слова монаха, хотя и сказанные с большой добротой, содержали в себе язвительный упрек, он приказал слуге своему тотчас же ехать далее.

Монах поздоровался с Девалой-земледельцем и стал помогать ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассыпавшийся рис. Дело шло быстро, и Девала подумал: «Этот монах, должно быть, святой человек, – ему как будто помогают невидимые духи. Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обращение гордого брамина».

И он сказал:

– Почтенный господин! не можете ли вы сказать мне, за что я потерпел несправедливость от человека, которому я никогда не сделал ничего худого?

Монах сказал:

– Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но только потерпели в теперешнем существовании то, что вы совершили над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, сказавши, что даже и теперь вы бы сделали над брамином то же самое, что он сделал с вами, если бы были на его месте и имели такого же сильного слугу.

Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не раскаялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему дорогу, так же, как брамин поступил с ним.

Рис был убран в воз, и монах с земледельцем приближались уже к Бенаресу, когда лошадь вдруг шарахнулась в сторону.

– Змея, змея! – воскликнул земледелец.

Но монах, пристально взглянув на предмет, испугавший лошадь, соскочил с телеги и увидел, что это был кошелек, полный золота.

«Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот кошелек», – подумал он и, взяв кошелек, подал его земледельцу, сказав:

– Возьмите этот кошелек и, когда будете в Бенаресе, подъезжайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите брамина Панду и отдайте кошелек. Он будет извиняться перед вами за грубость своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и желаете ему успеха во всех его предприятиях, потому что, верьте мне, чем больше будут его успехи, тем лучше это будет для вас. Ваша судьба во многом зависит от его судьбы. Если бы Панду спросил у вас объяснений, то пошлите его в монастырь, где он всегда найдет меня в готовности помочь ему советом, если совет нужен ему.

Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, своего торгового приятеля, богатого банкира.

– Я погиб, – сказал Малмека, – и не могу делать никаких дел, если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской кухни. Есть в Бенаресе мой враг банкир, который, узнав то, что я сделал условие с царским дворецким о том, что я доставлю ему сегодня утром воз риса, желая погубить меня, скупил весь рис в Бенаресе. Царский дворецкий не освободит меня от условия, и завтра я пропал, если Кришна не пошлет мне ангела с неба.

В то время как Малмека жаловался на свое несчастье, Панду хватился своего кошелька. Обыскав свою колесницу и не найдя его, он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицейских, обвинил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы вынудить от него признание. Раб кричал, страдая:

– Я невиновен, отпустите меня! Я не могу переносить этих мук! Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю теперь за грехи других! О, если бы я мог выпросить прощение у того земледельца, которому я сделал зло ради моего хозяина! Мучения эти, верно, служат наказанием за мою жестокость.

В то время как полицейские еще продолжали бить раба, земледелец подъехал к гостинице и, к великому удивлению всех, подал кошелек. Раба тотчас же освободили из рук его мучителей, но, будучи недоволен своим хозяином, он убежал от него и присоединился к шайке разбойников, живших в горах. Когда же Малмека услыхал, что земледелец может продать самого лучшего рису, годного для царского стола, он тотчас же купил весь воз за тройную цену, а Панду, радуясь в сердце своем возвращению денег, тотчас же поспешил в монастырь, чтобы получить от монаха те объяснения, которые он обещал ему.

Нарада сказал:

– Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что вы не способны понять духовную истину, я предпочитаю молчание. Однако я дам вам общий совет: обращайтесь с каждым человеком, которого вы встретите, так же, как с самим собой, служите ему так же, как вы желали бы, чтобы вам служили. Таким образом, вы посеете семя добрых дел, и богатая жатва их не минует вас.

– О монах! дайте мне объяснение, – сказал Панду, – и мне легче будет тогда следовать вашему совету.

И монах сказал:

– Слушайте же, я дам вам ключ к тайне: если вы и не поймете ее, верьте тому, что я скажу вам. Считать себя отдельным существом есть обман, и тот, кто направляет свой ум на то, чтобы исполнять волю этого отдельного существа, следует за ложным светом, который приведет его в бездну греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, происходит оттого, что покрывало Майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближними, мешает нам проследить наше единство с душами других существ. Немногие знают эту истину. Пусть следующие слова будут вашим талисманом:

«Тот, кто вредит другим, делает зло себе. Тот, кто помогает другим, делает добро себе. Перестаньте считать себя отдельным существом – и вы вступите на путь истины.

Для того, чье зрение омрачено покрывалом Майи, весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой человек не может понимать значения всеобъемлющей любви ко всему живому». Панду отвечал:

– Ваши слова, почтенный господин, имеют глубокое значение, и я запомню их. Я сделал небольшое добро, которое мне ничего не стоило, для бедного монаха во время моей поездки в Бенарес, и вот как благодетельны оказались его последствия. Я много обязан вам, потому что без вас я не только потерял бы свой кошелек, но не мог бы делать в Бенаресе тех торговых дел, которые значительно увеличили мое состояние. Кроме того, ваша заботливость и прибытие воза риса содействовали благосостоянию моего друга Малмеки. Если бы все люди познали истину ваших правил, насколько лучше бы был наш мир, как уменьшилось бы зло в нем и возвысилось общее благосостояние! Я желал бы, чтобы истина Будды была понята всеми, и потому я хочу основать монастырь в моей родине Колшамби и приглашаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог посвятить это место для братства учеников Будды,

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби сделался местом собрания мудрых монахов и стал известным как центр просвещения для народа, В это время соседний царь, услыхав о красоте драгоценных украшений, приготовляемых Панду, послал к нему своего казначея, чтобы заказать корону чистого золота, украшенную самыми драгоценными камнями Индии.

Когда Панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя и, надеясь делать там торговые дела, взял с собой большой запас золота. Караван, везший его драгоценности, был охраняем вооруженными людьми, но когда он достиг гор, то разбойники, с Магадутой, ставшим атаманом их, во главе, напали на него, побили охрану и захватили все драгоценные камни и золото. Сам Панду едва спасся. Это несчастие было большим ударом для благосостояния Панду: богатство его значительно уменьшилось.

Панду был очень огорчен, но переносил свои несчастия без ропота; он думал: «Я заслужил эти потери грехами, совершенными мною в моей прежней жизни. Я в молодости был жесток с народом; и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, то мне нельзя жаловаться».

Так как он стал много добрее ко всем существам, то несчастья его послужили только к очищению его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монах и ученик Нарады, путешествуя в горах Колшамби, попал в руки разбойников. Так как у него не было никакой собственности, атаман разбойников крепко избил его и отпустил.

На следующее утро Пантака, идя через лес, услыхал шум битвы и, придя на этот шум, увидал много разбойников, которые с бешенством нападали на своего атамана Магадуту.

Магадута, как лев, окруженный собаками, отбивался от них и убил многих из нападавших. Но врагов его было слишком много, и под конец он был побежден и упал на землю замертво, покрытый ранами.

Как только разбойники ушли, молодой монах подошел к лежавшим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники были уже мертвы, только в начальнике их оставалось немного жизни. Монах тотчас же направился к ручейку, бежавшему невдалеке, принес свежей воды в своем кувшине и подал умирающему.

Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал:

— Где эти неблагодарные собаки, которых я столько раз водил к победе и успеху? Без меня они скоро погибнут, как затравленные охотником шакалы.

— Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей грешной жизни, — сказал Пантака, — но подумайте о вашей душе и воспользуйтесь в последний час той возможностью спасенья, которая представляется вам. Вот вам вода для питья, дайте я перевяжу ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу жизнь.

— Это бесполезно, — отвечал Магадута, — я приговорен; негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били меня теми ударами, которым я научил их.

— Вы пожинаете то, что посеяли, — продолжал монах. — Если бы вы учили своих товарищей делам добра, вы бы и получили от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и потому вы через свои дела убиты их рукою.

— Ваша правда, — отвечал атаман разбойников, — я заслужил свою участь, но как тяжел мой жребий тем, что я должен пожать плод всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите меня, святой отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь от грехов, которые давят меня, как скала, наваленная мне на грудь.

И Пантака сказал:

— Искорените ваши грешные желания, уничтожьте злые страсти и наполните свою душу добротою ко всем существам.

Атаман сказал:

— Я делал много зла и не делал добра. Как могу я выпутаться из той сети горя, которую я связал из злых желаний моего сердца? Моя карма повлечет меняв ад, я никогда не буду в состоянии вступить на путь спасения.

И монах сказал:

– Да, ваша карма пожнет в будущих воплощениях плоды тех семян, которые вы посеяли. Для делателя дурных дел нет избавления от последствий своих дурных поступков. Но не отчаивайтесь: всякий человек может спастись, но только с тем условием, чтобы он искоренил из себя заблуждение личности. Как пример этого, я расскажу вам историю великого разбойника Кандаты, который умер нераскаянным и вновь родился дьяволом в аду, где он мучился за свои дурные дела самыми ужасными страданиями. Он был уже в аду много лет и не мог избавиться от своего бедственного положения, когда Будда явился на земле и достиг блаженного состояния просветления. В это достопамятное время луч света попал и в ад, возбудив во всех демонах жизнь и надежду, и разбойник Кандата громко закричал: «О Будда блаженный, сжалься надо мной! Я страшно страдаю; и хотя я делал зло, я желаю теперь идти по пути праведности. Но я не могу выпутаться из сети горя; помоги мне, Господи, сжалься надо мной!» Закон кармы таков, что злые дела ведут к погибели.

Когда Будда услышал просьбу страдающего в аду демона, он послал к нему паука на паутине, и паук сказал: «Схватись за мою паутину и вылезай по ней из ада». Когда паук исчез из вида, Кандата схватился за паутину и стал вылезать по ней. Паутина была так крепка, что не обрывалась, и он поднимался по ней все выше и выше. Вдруг он почувствовал, что нить стала дрожать и колебаться, потому что за ним начинали лезть по паутине и другие страдальцы. Кандата испугался; он видел тонкость паутины и видел, что она растягивается от увеличившейся тяжести. Но паутина все еще держала его. Кандата перед этим смотрел только вверх, теперь же он посмотрел вниз и увидел, что за ним лезла по паутине бесчисленная толпа жителей ада. «Как может эта тонкая нить вынести тяжесть всех этих людей», – подумал он и, испугавшись, громко закричал: «Пустите паутину, она моя!» И вдруг паутина оборвалась, и Кандата упал назад в ад. Заблуждение личности еще жило в Кандате. Он не знал чудесной силы искреннего стремления вверх для того, чтобы вступить на путь праведности. Стремление это тонко, как паутина, но оно поднимет миллионы людей, и чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче будет каждому из них. Но как только в сердце человека возникнет мысль, что паутина эта моя, что благо праведности принадлежит мне одному и что пусть никто не разделяет его со мной, то нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состояние отдельной личности; отдельность же личности есть проклятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад есть не что иное, как себялюбие, а нирвана есть жизнь общая…

– Дайте же мне ухватиться за паутину, – сказал умирающий атаман разбойников Магадута, когда монах кончил свой рассказ, – и я выберусь из пучины ада.

Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь с мыслями, потом он продолжал:

– Выслушайте меня, я признаюсь вам. Я был слугою Панду, ювелира из Колшамби. Но после того как он несправедливо истязал меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников. Несколько времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что он проезжает через горы, и я ограбил его, отнял у него большую часть его состояния. Подите теперь к нему и скажите ему, что я простил его от всего сердца за оскорбление, которое он несправедливо нанес мне, и прошу его простить меня зато, что я ограбил его. Когда я жил с ним, сердце его было жестоко как камень, и я научился от него его себялюбию. Я слышал, что он теперь стал добродушен и что на него указывают, как на образец доброты и справедливости. Я не хочу оставаться в долгу у него; поэтому скажите ему, что я сохранил золотую корону, которую он сделал для царя, и все его сокровища и спрятал их в подземелье. Только два разбойника знали это место, и теперь они оба мертвые; пусть Панду возьмет с собою вооруженных людей и придет к этому месту и возьмет назад ту собственность, которой я лишил его.

После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер на руках Пантаки.

Как скоро молодой монах Пантака вернулся в Колшамби, он пошел к ювелиру и рассказал ему обо всем, что случилось в лесу.

И Панду пошел с вооруженными людьми к подземелью и взял из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они с почестью похоронили атамана и его убитых товарищей, и Пантака над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал следующее:

«Личность делает зло, личность же и страдает от него.

Личность воздерживается от зла, и личность очищается.

Чистота и нечистота принадлежат личности: никто не может очистить другого.

Человек сам должен сделать усилие; Будды только проповедники».

«Наша карма, – сказал еще монах Пантака, – не есть произведение Шивары, или Брамы, или Индры, или какого-нибудь из богов, – наша карма есть последствие наших поступков.

Моя деятельность есть утроба, которая носит меня, есть наследство, которое достается мне, есть проклятие моих злых дел и благословение моей праведности. Моя деятельность есть единственное средство моего спасения».

Панду привез назад в Колшамби все свои сокровища, и, с умеренностью пользуясь своим столь неожиданно возвращенным богатством, он спокойно и счастливо прожил свою остальную жизнь, и когда он умирал, уже в преклонных летах, и все его сыновья, дочери и внуки собрались около него, он сказал им:

– Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите причины ваших бед в самих себе. И если вы не ослеплены тщеславием, вы найдете ее, а найдя ее, вы сумеете избавиться от зла. Лекарство от ваших бед в вас самих. Пусть ваш умственный взор никогда не покрывается покровом Майи… Помните те слова, которые были талисманом моей жизни:

«Тот, кто делает больно другому, делает зло себе.

Тот, кто помогает другому, помогает себе.

Пусть исчезнет обман личности – и вы вступите на путь праведности».

Примечания
1 «Карма» есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть последствие его поступков в предшествующей жизни и что добро или зло нашей будущей жизни точно так же будет зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершения добра, которые мы сделали в этой. – Примечание Л.Н.Толстого.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://tolstoyleo.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!